

В. П. Авенариусъ.

СЫНЪ АТАМАНА.

ПОВѢСТЬ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА

ИЗЪ БЫТА ЗАПОРОЖЦЕВЪ.

ВТОРАЯ ПОВѢСТЬ ИЗЪ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРИЛОГИИ

„ЗА ЦАРЕВИЧА“.

Съ 8 отдѣльными рисунками.

Цена 1 р., въ перепл. 1 р. 25 к., въ перепл. 1 р. 40 к.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Изданіе книжнаго магазина П. В. Луковникова.

Лештуковъ переулокъ, д. № 2.

С

38

Василий Петрович Авенариус

Сын атамана (За царевича #2)

Главными материалами для настоящей повести послужили обширные ученые исследования Д. И. Эварницкого и покойного А. А. Скальковского о запорожских казаках. До выпуска книги отдельным изданием, г. Эварницкий был так обязателен пересмотреть ее для устранения возможных погрешностей против исторической и бытовой правды; за что автор считает долгом выразить здесь нашему первому знатоку Запорожья особенную признательность.

Содержание

#1	0006
II Сын атамана	0007
Глава первая КОНЬ О ЧЕТЫРЕХ НОГАХ, ДА СПОТЫКАЕТСЯ	0007
Глава вторая КОЕ-ЧТО О ЗАПОРОЖСКОЙ СВЯТЫНЕ И О КОШЕВОМ АТАМАНЕ САМОЙЛЕ КОШКЕ	0015
Глава третья ОТЕЦ-ВРАТАРЬ И ОТЕЦ-НАСТОЯТЕЛЬ	0023
Глава четвертая КТО БЫЛ САМ ОТЕЦ СЕРАПИОН	0033
Глава пятая ПОПУТЧИК	0042
Глава шестая ЗА ОБЕДНЕЙ И ЗА ТРАПЕЗОЙ	0052
Глава седьмая КТО БЫЛ ДЯДЬКА ГРИШУКА	0061
Глава восьмая ПО ДНЕПРОВСКИМ ПОРОГАМ	0066
Глава девятая У «ДИДА» В «ПЕКЛЕ»	0077
Глава десятая КАК КАМЕННИКИ ДУВАН ДУВАНИЛИ	0083
Глава одиннадцатая КАК ПИРОВАЛИ КАМЕННИКИ	0095
Глава двенадцатая КАК ЯКИМ СДЕРЖАЛ СВОЕ СЛОВО	0101

Глава тринадцатая «ПУГУ! ПУГУ!»	0111
Глава четырнадцатая ХЛОПЧИК ИЛИ ДИВЧИНА?	0119
Глава пятнадцатая ЛОЖЬ — НА ТАРАКАНЬИХ НОЖКАХ	0128
Глава шестнадцатая ПРОГУЛКА ПО СЕЧИ .	0139
Глава семнадцатая НА РАДУ!	0149
Глава восемнадцатая КАК ПРОЩАЛСЯ СТАРЫЙ КОШЕВОЙ И КАК ВЫБИРАЛИ НОВОГО . . .	0155
Глава девятнадцатая СЕЧЕВЫЕ БАТЬКИ МОЛВЯТ СВОЕ СЛОВО	0164
Глава двадцатая СУД ПРАВЫЙ И СКОРЫЙ .	0170
Глава двадцать первая ГАЙДА НА МОСКВУ!	0182
Глава двадцать вторая ПОСЛЕДНЯЯ МИЛОСТЬ ДАНИЛЕ	0191
Глава двадцать третья ДАЛЬНИЕ ПРОВОДЫ — ЛИШНИЕ СЛЕЗЫ	0199
Глава двадцать четвертая ДАНИЛО- ПРОЩАЛЬНИК	0206

**В. П. Авенариус
За царевича
(Историческая трилогия)**

(Историческая повесть из быта запорожцев)

II Сын атамана

Глава первая КОНЬ О ЧЕТЫРЕХ НОГАХ, ДА СПОТЫКАЕТСЯ

В лето от Рождества Христова 1604-е, в знойный июньский полдень, украинскою степью к днепровским порогам пробирались два всадника. Степные травы были так высоки и пышны, что всадники то вовсе в них исчезали, то выплывали опять по пояс. Безбрежная девственная степь кругом была совсем безлюдна, но там и сям паслись стада ланей, сайг, оленей, которые, при приближении непрошенных гостей, пугливо разбежались; в густой траве, в солнечном воздухе копошились и кружились, жужжали и стрекотали миллиарды всяких насекомых; в невидимой вышине заливался жаворонок; порою проносилась стая лебедей, сверкая белыми крыльями на яркой лазури неба.

— А ведь правда твоя, Данило: хороша ва-

ша степь, дивно хороша! — говорил младший всадник, атлетического сложения юноша лет двадцати двух, вдыхая полною грудью теплый воздух, напоенный здоровым благоуханием диких степных растений. — Во все, вишь, концы света растянулася, без конца, без края, что море-океан! А кругом все же Божий мир и живет, и Бога славит.

Говорил юноша по-русски, хотя по наряду можно было принять его за поляка: под пыльным «капеняком» (дорожный плащ без рукавов) виднелся малинового сукна, расшитый золотом кунтуш; на русых кудрях была наде-та дорогая соболья шапка с соколиным пером и крупным изумрудным аграфом; за поясом красовались турецкий кинжал и две пистолы в богатой оправе; сбоку бряцала кривая турецкая шашка; за спиною было прицеплено немецкой работы ружье. В смертном бою, один на один, такой противник должен был быть страшен, но открытый взор молодого богатыря светился таким миролюбием, что нельзя было даже представить себе его поднимающим на ближнего руку. Великолепный вороной аргамак, казалось, гордился своим

седоком и выступал легко и резво, точно не сделал уже в это утро перехода в полсотню верст.

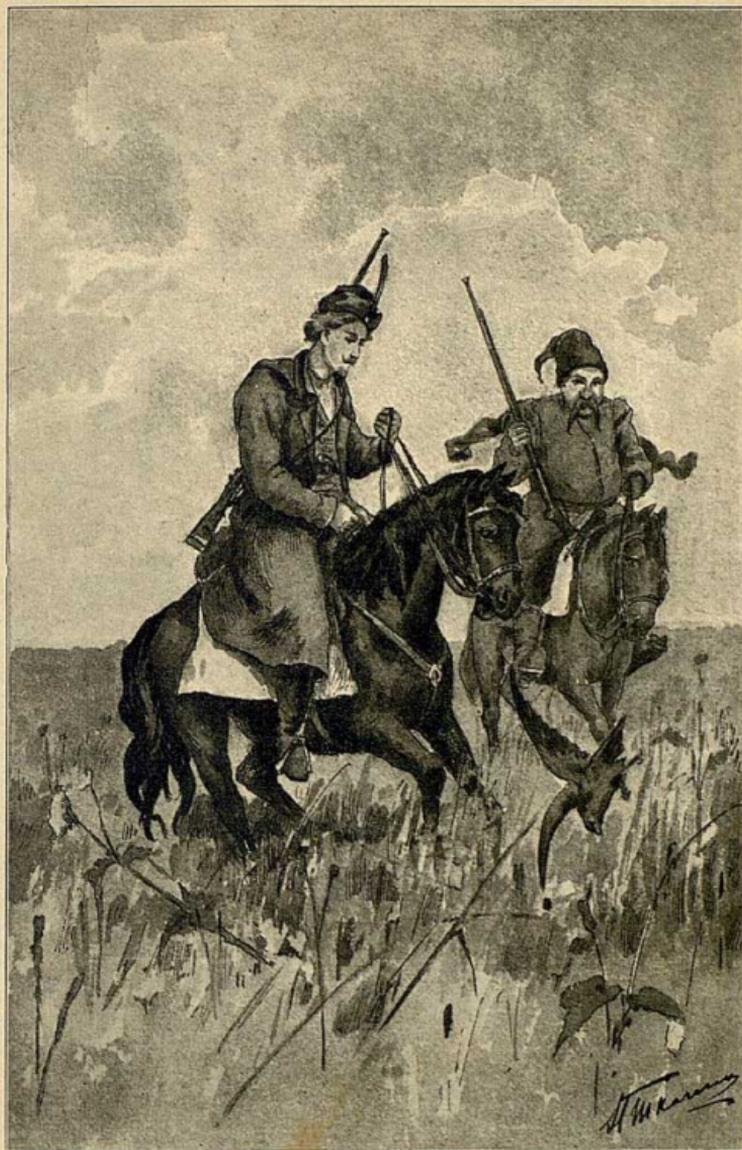
Товарищ юноши, названный им Данилой, сизоносый, сивоусый толстяк, не имел с ним, по виду, ничего общего. Поджарый, казацкий конь слышно храпел под его тяжелой тушей, так и выпиравшей из некогда алого, а теперь буро-пегого «каптана». Откидные рукава каптана давно потеряли на «закаврашах» (отвороченных концах) свои петли и застежки и были завязаны узлом за спину; но от быстрого движения вперед они развевались за спиной всадника на подобие крыльев, а его полинялые, когда-то синие шаровары раздувались парусом, делая его еще толще. Насаженная на самый затылок остроконечная шапка с «китицей» (кисточкой) и потертым смушковым окольшком открывала большой бритый череп с аршинным «оселедцем», закрученным лихо на левое ухо. Это типическая особенность, в совокупности с задорно-беззаботным выражением лица, с молодецкой посадкой и воинской «зброей»: двумя пистолями, «панночкой-саблей-сестрицей», «рушни-

цей» — мушкетом и казацкой плетью — «малахаем», не оставляли сомнения, что то был истый запорожец.

Данило слушал своего юного товарища с самодовольной усмешкой, так ловко сбивая при этом своим малахаем пушистые головки степных цветов, точно то были головы проклятых нехристей-татар или турок. В это самое время с хищным криком взмыл в вышину ястреб и с распростертыми крыльями повис в воздухе, высматривая себе внизу живую добычу.

— Пстой, разбойник! — сказал Данило, сорвав с плеча мушкет и, насыпав на полку пороху, нацелился в хищника.

Грянул выстрел, и ястреб, раненный на смерть, полетел стремглав со своей вышины. Но распластанные крылья дали ему боковое спиральное направление. Не успел товарищ Данилы отдернуть назад своего аргамака, как падающая птица со всего размаха задела коня крылом по морде, а затем с шумом хлопнулась ему под копыта. Горячий конь, навостривший только уши при звуке знакомого ему ружейного выстрела, не ожидал такого напа-



Ястребъ, раненый на смерть, полетѣлъ стремглавъ съ своей
вышины.

дения с вышины и шарахнулся в сторону. Хозяин его усидел в седле. Но сам аргамак осту-пился одной ногой в глубокую яму, а когда стгоряча разом выдернул ее оттуда, то шибко захромал.

— Ах, ты, бисова птица! Чтоб те мухи съели! — от-ругнулся запорожец и соскочил на-земь. — И угораздило ж какого-то дурня овражка вырыть себе тут норку! Дай-ка, кня-же, осмотреть мне ногу твоего Вихря.

Взяв в руки ногу Вихря, Данило стал бе-режно ее ощупывать. Конь нервно вздраги-вал и дергал ногой.

— Ну, что, Данило? — спросил молодой князь. Тот снял шапку и всей пятерней поче-сал в корне чупрыны.

— Ишь, грех какой!

— Вывих, что ли?

— Вывих, да такой, что не токмо слезть те-бе надо будет, а навсегда, почитай, распро-ститься с твоим добрым конем.

Юноша тотчас также спешился и к горю своему должен был убедиться в справедливо-сти слов запорожца.

— Что же нам теперь делать с ним, Дани-

ло? — уцавшим голосом спросил он, глядя бедного коня по роскошной гриве.

— Да взять пистоль и пристрелить. Что уж больше?

— Ни за что! — вскричал молодой владелец аргамака, и на глазах у него навернулись слезы. — Может, он еще оправится...

— Не надейся, княже. Никакой знахарь такого вывиха не вправит. Коли у самого тебя рука на любимца своего не подымается, то я его за тебя прикончу...

— Нет, нет, Данило! Пускай живет себе на покое, доколь не помрет своею смертью.

— Эх, Михайло Андреевич! Очень уж ты сердоболен. На кого же мы его здесь в степи оставим.

— А не будет ли на пути у нас поселья какого? Сдать бы его на руки добрым людям...

— И впрямь ведь! Есть хоть и не мирское поселье, так монастырь — православный монастырь, Самарская пустынь, запорожский наш Иерусалим.

— Чего же лучше! И недалече?

— Да к ночи, почитай, шажком доплетемся. Там и заночуем. А теперь, княже, садись-ка

на моего Буланку.

— Садись сам, Данило: я тебя вдвое моложе...

— Эвона! Ты — господин, я — слуга. Да я же всему причинен.

— Ну, так давай хоть чередоваться.

— Оце добре; там ужо увидим. А теперь-то, Михайло Андреич, садись, пожалуй, уважь меня.

Князю Михайле пришлось «уважить» пожилого слугу. Данило же вырвал перо из ястребиного крыла и прицепил себе его на шапку, после чего запалил «люльку-носогрейку» и взял за повод инвалида-аргамака.

— Гайда!

Глава вторая

КОЕ-ЧТО О ЗАПОРОЖСКОЙ СВЯТЫНЕ И О КОШЕВОМ АТАМАНЕ САМОЙЛЕ КОШКЕ

— Ты назвал, Данило, эту Самарскую пустынь «запорожским Иерусалимом», — заговорил снова князь Михайло. — Что же, там запорожцы грехи свои отмаливают?

— Подлинно, что так. Обитель эта для каждого запорожца первая святыня. Знаешь ли ты, Михайло Андреевич, как она основалась?

— Как?

— А вот, слушай.

Пуская из своей носогрейки дымные кольца, словоохотливый запорожец стал рассказывать историю Самарской обители, уснащая свой рассказ не всегда уместными прибаутками; но и сквозь них слышалось искреннее благоговение, которое внушала ему, как всем запорожцам, их «первая святыня».

Вкратце история эта сводилась к тому, что лет 30 назад, в ту самую пору, как воевода польский Стефан Баторий принял в Кракове

венец королевский, на восточной окраине Запорожья, на безлюдном острове, опоясанном двумя Самарами, Старой и Новой, проявились два старца переходные. Долго мыкались старцы по белу свету, пока не обрели здесь мирного пристанища, в густой дубовой «товще», в каменной пещерке, словно бы самим Промыслом Божиим приуготовленной для их иноческого бдения. Но напрасно уповали старцы провести тут безмятежно остаток дней земных в молитвах о спасении душ своих и чужих. Откуда ни возмись, нагрянула на остров ватага молодецкая и, не трогая святых старцев, соорудила себе в самой гущине дикого бора потайное подземное жилье. По дням и по неделям, бывало, добрых молодецков нет на острове ни слуху, ни духу. Зато, как воз-воротятся с «похода», так пойдет у них бесшабашная гульба, пьяный крик и брань богомерзкая на много дней. Домекнулись тут два отшельника по хмельным речам буйных молодецков, что то вольница разбойничья, «каменники», хоронившиеся дотолу в каменных пещерах днепровских и выжитые оттуда вольницей казачьей — запорожцами.

Не обижали они Божьих старцев, что говорить! Снабжали их еще вдосталь и хлебушком, и рыбицей (коей, к слову молвить, в двух речках и окрестных озерах было великое изобилие), пособляли им и воду носить, и грядки копать на огороде, за все таковые услуги поручая им одно лишь — перед Господом Богом замаливать их, молодцев, неподобные мирские деяния. Не возмогли, однако ж, благочестивые иноки долее выносить соседства нечестивцев. А как те, под угрозой смерти, возбраняли им отлучаться с острова и общаться с простыми мирянами, то и стоворились старцы промеж себя, скрепя сердце, тайком покинуть свой угол обетованный. Выбрали они ночь осеннюю, безлунную, когда вольница ушла опять за дуваном; с опаской и бережью великою в лодчонке утлой переправились через речку. Да утечешь этак, как бы не так! Соглядатай молодцев перехватил бегунов и вернул назад. Каменники же пальцем их не тронули; установили только пуций надзор. Но дабы старцам способнее было воссылать к Престолу Всевышнего свои чистые мольбы за них, нечестивых, вырубил посре-

ди лесной чащи обширную площадку и поставили им тут настоящую иноческую келью. Отмаливали грехи их богомольные иноки, да недолго: выследили вольницу разбойничью казаки-запорожцы, кого зарубили, пристрелили, кого в полон забрали, да середь большой дороги на «шибенице» (виселице) казнили, на семена не оставили. Для двух старцев же праведных соорудили деревянную церковь, во имя святителя Николы, завели при ней «шпиталь» для хилых и бездомных «лыцарей», а обороны ради обвели обитель еще фортецией-окопом. И пошел тут слух о неизвестных дотоле двух отшельниках по всему казачеству, начали стекаться к ним на богомолье и стар, и млад, напросились на житье в скит их и другие схимники, и стала Самарская пустынь новым Иерусалимом всего Запорожья.

— А святые старцы те и доселе еще здравствуют? — спросил князь Михайло умолкнувшего рассказчика.

— И, куда! — отвечал запорожец. — И меньшему из них в те поры было, почитай, за девяносто лет, а то и вся сотня. Правит ноне

обителю запорожцев не запорожец, а все же из ратных людей, отец Серапион.

— И в житии тоже строг?

— И, Боже мой! Правит твердою ратною рукой, никому повадки не дает: ни монастырской братии, ниже мирским грешникам. Зато уж знаешь: коли сложит отец Серапион гнев на милость, отпустил тебе твое прегрешение, так, стало, и Господь тебя простил. Вот за что он люб нам, запорожцам, и за что мы его ни на кого другого не променяем! Перед смертным часом хоть ползком, а доползу до Самарской пустыни к отцу Серапиону, повинюсь во всех грехах своих, и вперед знаю: разгромит он меня пуще грома небесного, а там приютит, успокоит.

— А грехов за тобою, я чай, не мало? — улыбнулся Курбский.

— Не мало, милый княже, ох, не мало! — вздохнул запорожец. — Да и как им не быть, коли служил столько лет под Самойлой Кошкой!

— А это кошевой атаман ваш, что ли?

— Знамо, что кошевой. Ужель ж ты про Кошку ничего не слышал? Страшный вояка! В

туречине лютовали мы с ним, прости, Господи, так, что вспоминать ажио жутко! ПопадетсЯ тугой турчан, молдаван, сказать не хочет, где сховал червонцы, велит нам Кошка развязать ему язык: «А ну-ка, хлопцы, наденем ему на голову червону шапку!» И наденем: облупим голову ножами. «А ну-ка, хлопцы, обуйте его в червоны чоботы!» И обуем: огнем палящим пятки подпечем...

— Но это не человек, а зверь!

— Да, крутенок, что говорить. Зато сам впереди всех на врага шел, и шли мы за ним без оглядки и в огонь, и в воду.

— Однако ж ты сам, Данило, ушел-таки наконец от него? Невтерпеж, видно, стало?

— Уйти-то ушел, да не из-за того...

— Из-за чего же?

— По правде сказать, из-за голодухи. Наше войско запорожское ведь, как ведомо тебе, стоит на Днепре охраной кресту святому от погани бусурманской. Но зато знает нам цену и король польский; затеял он свару с королем свейским Карлом и зазвал нас на Карла в землю инфляндскую... Ливонией тоже прозывается.

— Ливонией, или Лифляндией, как же.

— Инфляндией, я ж и говорю. Ну, вот, стали мы, казаки настороже против Карловых куп, расставили бекеты (пикеты) по всем дорогам, несли нашу службу верой и правдой. Да казна, знать, у ляхов вконец опустела: писал Кошка и раз, и другой, и третий коронному гетману их Замойскому, чтобы выпросил у его королевской милости жалованья казакам, что амуницией мы совсем-де обносились, что и в продовольствии великую нужду терпим; а от гетмана ни ответа, ни привета. А тут подошла осень непогодная, бездорожье великое, пришла и зима с метелями, с морозами лютыми. От холода и голода завыли мы волками и пошли наутек.

— И ты сам с другими?

— Да чем я лучше других? Утек ведь не из корысти какой, а живота своего ради. От мокроты и стужи крепко так занедужился, заломило во всех суставах... так хошь бы к черту на рога!

— А что же тебе, Данило, не боязно пасться опять на глаза Кошке? Ведь он все еще атаманствует у вас в Сечи?

— Все, кажись; которой год уже выбирают. Да ты меня, княже, ему ведь не выдашь? Страшен черт, да милостив Бог. Да и то сказать, сам Кошка не святой человек, променял жинку на тютюн и люльку.

— Так он женат? Но ведь запорожцы в Сечи, я слышал, все холостые?

— Холостые, и нет у них никакого добра, окромя коня да оружия ратного. А женишься, обабишься, — пошел вон по кругу, живи простым казаком! И отрекся Кошка от жены, от ребят, ушел назад в Сечь... Да и то сказать, жинка у него не из казачек, выкрал он ее из гарема у пса крымского, хана татарского; хошь и окрестил потом в веру христианскую, повел под венец по обряду православному, да все, вишь, иного роду-племени... И ушел от нее в Сечь, зажил себе опять холостяком-воякой и вылез в кошевые. Молодчина! — как бы завидуя славному вояке, вздохнул запорожец и хрипло затянул:

*«Мы жинок мусимо любыты,
Так як наших сестер, материв.
А опричь их не треба никого лю-
быты,*

*И утикаты як от злых чортив.
Бо ты знаешь, мой милый сынку,
Лыцареви треба войоваты,
А тоби буде жаль жинку застав-
ляты...»*

На этом певец поперхнулся.

— Эх, горло пересохло! Не заморить ли нам княже, червячка?

И, не выждав ответа, он на ходу стал развязывать торока за седлом своего господина, где был прицеплен мешок с дорожными припасами.

Глава третья ОТЕЦ-ВРАТАРЬ И ОТЕЦ- НАСТОЯТЕЛЬ

Ночное небо искрилось звездами, когда наши два путника добрались до того места реки Самары, где прежде, на памяти Данилы, имелся паром для переправы на монастырский остров. Парома уже не существовало; но, взамен его, был мост, нарочито построенный, как потом оказалось, для удобства многочисленных богомольцев. Ворота обители были

на запоре, и кругом царила полная тишина. Но запорожец разбудил тишину мощным ударом молотка в висевшее на воротах било, и в ответ с монастырского двора поднялся громкий собачий вой. Вслед за тем вдали замелькал огонек. Шлепая лаптями по деревянным мосткам, показался, с фонарем в руке, старец-привратник и чуть не был сбит с ног двумя громадными псами-волкодавами, которые с тем же неистовым лаем бросились к закрытым воротам.

— Чтоб вас пекло да морило! — гаркнул на них запорожец. — Ни учтивости, ни вежества с именитыми гостями. Хошь бы ты, отче, поунял горлодеров!

Отец вратарь загремел на собак связкой ключей и крикнул надтреснутым фальцетом:

— Цыц, вы, скорпионы, аспиды! Страху на вас нет!

— Что, отче Харлампий, — продолжал Данило, — не зарыли тебя еще на погосте?

— Ну, пошли, пошли! Совсем осатанели! Ты что это говоришь, сыне милый? Не гораздо вслушивался.

— Спрашиваю: поживу ль, поздорову ли?

— Жив доднесь и здоров, по Божьей милости, ох, ох, ох! А сам-то ты, миленький, кто будешь?

Приподняв в руке фонарь, отец Харлампий подслеповатыми глазами старался меж дубовых палиц закрытых ворот разглядеть ночного собеседника.

— Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас! Аль обознался? Словно бы Данило Дударь?

— Он самый с начинкой и потрохами.

— Ох, балясник! Откуда Бог принес? — прошамкал старец, далеко не обрадованный, видно, такому гостю. — Да ты, кажись, и не один?

— Нет, со мной великий боярин, посланец царевича московского. Так и доложи отцу Серапиону.

— Не боярин, а сын боярский, — поправил слугу своего Курбский. — Да не беспокоить бы нам отца-настоятеля, верно започивал.

Благородная скромность и мягкий голос говорящего, а еще более, быть может, сама наружность его (насколько позволял разглядеть ее мерцающий свет фонаря) склонили старца

в его пользу, и ответ его прозвучал значительно приветливее:

— В келье отца-настоятеля о сю пору свеча горит. Когда он отдыхает, — одному Господу ведомо!

— Так благословись, отче, доложить ему: дальние путники шибко, мол, приустиали.

— А звать тебя, добродию, как прикажешь?

— Я — князь Курбский, Михайло Андреевич.

— Князь Курбский, Михайло Андреевич... — повторил про себя отец Харлампий, как бы стараясь глубже запечатлеть новое имя в своей слабеющей памяти. — Посланец царя московского?

— Царевича; но не к вам, в обитель. У вас бы нам только ночку переночевать...

— Князь Курбский... Князь Курбский... Благословлюсь, доложу. Обожди малехонько.

Гремя по-прежнему ключами, старец-вратарь зашлепал обратно к обители. Немного погодя снова блеснул фонарь, забрякали падающие затворы, и тяжелые ворота со скрипом растворились.

— Пожалуй, батюшка, пожалуй, милости-

вещ: просит.

Освещая своим фонарем путь гостю, отец Харлампий заковылял вперед по деревянным мосткам, тянувшимся через монастырский двор до самого крыльца; отсюда же рядом крытых переходов и сеней они добрались до настоятельской кельи. Растянувшийся перед кельей на голом полу дневальный белец, безбородый малый, мигом вскочил на ноги и распахнул дверь. Наклонившись, чтобы не удариться лбом о низкую притолоку, молодой богатырь наш ступил через порог кельи. Посреди нее, очевидно, в ожидании гостя, стоял сам игумен. Но Курбский, сняв шапку, первым делом перекрестился уставно перед божницей с иконами в переднем углу, а затем уже повернулся к отцу Серапиону и попросил его пастырского благословения.

Ростом настоятель был, пожалуй, немного ниже самого Курбского; но недостающее восполнялось поистине львиной гривой, которая густыми серебристыми волнами спадала на плечи, а осанка игумена была так строга и величава, что Курбский, прикладываясь к благословляющей руке, показался сам себе недо-

рослым отроком перед этим могучим иноком, как бы вытесанным из целого векового дуба. Толстый посох с серебряным набалдашником служил ему, казалось, не столько для опоры, сколько для усугубления его непоколебимой силы. Недаром же пал на него выбор запорожцев!

Только подняв голову, Курбский заметил, что веко одного глаза у настоятеля закрыто. Зато другой, здоровый глаз глядел тем зорче, и перед этим блестящим, насквозь пронизывающим взором юноша невольно должен был потупить свой собственный взор.

Не приглашая гостя даже сесть, суровый иннок приступил без обиняков к допросу:

— Ты сказываешься князем Курбским?

Строгий тон, а более еще, быть может, недоверчивость, проглядывавшая в самой форме вопроса, задела юношу за живое; но он сдержал себя и ответил почтительно:

— Не сказываюсь только, святой отче, а и в правду Курбский, сын князя Андрея Михайловича.

— Злоумышленника и изменника царю своему и отчизне?

Курбский вспыхнул, и ответ его прозвучал уже самоуверенно и гордо:

— Он смолоду до седых волос был царю своему самым верным слугою в благих его делах; в лютых же неистовствах и казнях ему, точно, препятствовал и не пожелал снести собственную голову на плаху. Коли за то он злоумышленник и изменник, так, пожалуй, зови его так, а мне его память священна!

— Тише, сыне, тише! Памятуй, с кем речь ведешь, — властно оборвал его игумен, постукивая по полу своим посохом. — Родитель твой, как никак, а предался врагам царя Ивана Васильевича, полякам?

— Не предался им, отче, а искал у них, бездомный, приюта и защиты; детям же своим на смертном одре завещал все же не забывать святой Руси — родины предков.

— Ой ли? Сего я не ведал. Женат же он был на полячке?

— На полячке.

— По римскому обряду?

— По римскому, но сам он никогда не менял своей исконной веры, равно и меня, сына своего, дал окрестить в православии.

Мрачные черты отца Серапиона несколько просветлели.

— Почто же, скажи, одежда на тебе польская?

— А потому, что мы с царевичем моим жили до сих пор меж поляков.

— С каким это царевичем?

— С царевичем московским Димитрием.

— Гм... С тем, что проявился на Волыни у братьев Вишневецких?

— С тем самым.

— Про коего сказывали, что он убит в Угличе?

— Не убит, а спасся от наемных убийц Годунова! И король Сигизмунд в Кракове, и сейм польский признали его за подлинного сына Грозного царя, дозволили ему вербовать у себя рать противу узурпатора московского престола; я же уполномочен царевичем поднять на Годунова и Сечь Запорожскую, — и с Божьей помощью подниму ее!

Глаза юноши так и сверкали искренним одушевлением; благородные черты его, просияв внутренним огнем, стали еще привлекательнее. Сам суровый схимник не мог им не

залюбоваться и с отеческой лаской возложил ему на плечо руку.

— Узнаю Курбского! — сказал он. — Таков был и покойный родитель твой — огонь палящий! Тоже, бывало, так и мечет искры из гневных очей. Но ведомо ли тебе, что на Запорожье было уже посольство от имени твоего царевича?

Такое известие сильно озадачило и смутило Курбского.

— Господи Боже мой! — пробормотал он. — Ужели тем временем, что я замешкался по своему делу в Лубнах... И с запорожцами без меня покончено?

— Покудова еще нет, не полошайся попустому, — успокоил его настоятель. — Староста истерский, пан Михайло Ратомский, поднял, вишь, Украину за твоего царевича и, в усердии своем, не спросясь даже, кажись, подослал от себя особых легатов в Запорожье; но те убрались, слышно, не солоно хлебавши, потому нет там ныне настоящего главы, кошевого атамана.

— А Самойло Кошка?

— Да числится-то он все еще яко бы коше-

вым, но умом помрачился, и идут у них в Сечи раздоры и беспорядки...

— Вот беда какая!.. А ехать все же надо; время не терпит. Только как бы туда добраться?

И Курбский сказал о напасти, постигшей его доброго коня.

— Для столь верного слуги пристанище у нас найдется, — сказал отец Серапион, — а о замене его уже потолкуем. Но с тобой, доложили мне, есть и другой слуга — Данило Дударь. Где ты обрел сие сокровище?

— У Вишневецких еще ознакомились. Он же в Запорожье свой человек...

— Воистину, что так, и знают его там, как бражника и бездельника, в досталь! Не нажить бы тебе с ним хлопот...

— Но сердцем он добр человек, и предан мне, не выдаст.

— Да смей он тебя выдать! Однако, в пути, ты, сыне, я чай, проголодался?

Отец Серапион ударил а ладоши. Появившемуся в дверях бельцу он приказал отвести гостя в панскую боковушку и сказать отцу келарю, чтобы подал туда снедей да питей.

— Погодя еще загляну к тебе, — прибавил хозяин-игумен, провожая молодого гостя до порога.

Глава четвертая

КТО БЫЛ САМ ОТЕЦ СЕРАПИОН

Панская «боковуша», как показывало уже название, была предназначена для почетных гостей; тем не менее никакою роскошью она не отличалась, за исключением разве кота с многочисленными большими и малыми образами, увешанными пасхальными яичками и пучками душистых трав. Низкое окно с частыми слюдяными стеклами было заложено железной решеткой; деревянные отесанные стены, деревянный стол, широкие деревянные лавки, — все было крайне просто; на одной лавке был постлан пуховик со взбитой подушкой; тут же рядом на стольце (табуретке) была деревянная умывальная чашка и глиняный кувшин с водой, а на гвозде — две чистые, грубого полотна ширинки (полотенца).

Пока Курбский умывался от дорожной пы-

ли, отец келарь с двумя служками накрыл на стол. Был тут и пирог с рыбой, и балык янтарный, и икорка свежепросольная, и грибки разные, и мед сотовый, и яблоки моченые; были глечики с квасом, медом и еще каким-то взваром, от которого кругом разносился заманчивый дух.

— Кушай во здравие, добродию! — пригласил келарь с поклоном. — Не взыщи: не изготовились принять.

— Чего уж больше? — отвечал Курбский. — Я и не упомяну, когда ужинал так обильно! Но мой дорожный товарищ и кони наши...

— Упокоили твоего холопа, добродию, и коням овса дадено. Не тревожь своей милости.

Утолив голод, Курбский только что налил себе кружку меду, как увидел в дверях отца Серапиона.

— Ну, что, сыне, насытился, чем Бог послал? — начал игумен, подходя и усаживаясь также около стола. — Мясной яствы, прости, и для мирян у нас не готовится. Нынче к тому же день постный: для монастырской братии и рыбы не положено. Но в пути сущим и в море

плавающим святыми отцами особа пища разрешается. Кушай во здравие!

— Много благодарен, святой отче, — отвечал Курбский, — сыт уже по горло. Вот медком еще запить... Что за вкусное питье!

— Да, поило доброе, меда у нас ставленные; тоже про одних лишь дорогих гостей: сами мы, иноки, квасом пробавляемся. А варенухи нашей еще не отведал?

— Нет.

— Так выкушай посошок, — продолжал хозяин-настоятель, наливая гостю полную чару ароматного взвара, — из вина, вишь, и меду с пряными кореньями сварена. Изрядный по сей части у нас отец чашник. Горе вот только, что сам уж не в меру падок до своих взваров; того гляди, отставить еще придется!.. — словно про себя, в сердцах пробормотал строгий начальник обители.

— Не погневись, святой отче, — заговорил тут Курбский, — коли я спрошу тебя по всей простоте: будет ли, как полагаешь, от запорожцев моему царевичу в ратном деле большая помощь?

— Помогает-то была бы, как не быть; их хле-

бом не корми, дай лишь повоевать! — подтвердил отец Серапион и, оглянувшись на притворенную дверь, понизил голос. — Но поразмыслил ли ты, сыне милый, на кого ты с ними ополчаешься? На родичей своих, москвичей!

— Но чтобы возвести на прародительский престол настоящего царя московского!

— Да ведь запорожцы-то, как они мне не любви, сказать келейно, народ зело дикий, буйный, конь одичалый без узды, саранча египетская, пламя всепожирающее, пущенное по сухой степи, все кругом себя губящее нещадно...

— Слышал и сам я, отче, будто жгут они, грабят, режут...

— А служителей Божьих — ксендзов польских и монахов живьем в пламя бросают! — в порыве негодования подхватил игумен. — Пусть те не нашей истинной веры, а все же, по своему уму-разуму, Господу Богу служат...

— Неужто, отче, они поступают так и со служителями церкви? Ведь короли польские сами давали войску запорожскому грамоты на защиту святого креста от полчищ мусуль-

манских.

— А что же ты поделаешь с вольницей, у коей ни кола, ни двора, а почасту ни чести, ни совести! Кто ведь идет в Сечь Запорожскую? Всякая голь перелетная с Украйны, с Польши, с Руси, характерники и гультаи, коим терять нечего, беглецы от власти и закона.

— Но у рады запорожской, отче, есть же свои власти, свои законы?

— Как не быть! И послушники от оных наказываются столь же строго, может еще строже, чем в ином войске. Да закон-то для них писан лишь постольку, поскольку запорожец преступает права своего товариства запорожского. Товариство для запорожца — святыня, что храм Божий: он сам на него не посягнет, ни другим не даст пальцем его тронуть. Зато вне Сечи да на походе для запорожца не писано ни своего, ни иного какого закона, и является он лютость неслыханную, сатанинскую. Так вот, касатик мой, чью помощь ты противу родной Москвы призываешь! Потекут за ними потоки крови. По долгу пастырскому призываю тебя пожалеть своих братьев, пожалеть и себя: на твоей совести будет кровь

Их...

На минутку Курбский задумчиво потупился; но вслед затем тряхнул головой и глянул в лицо настоятелю прямо и решительно.

— Ты, святой отче, выполнил долг свой, не препятствуй же и мне выполнить долг мой тому, кто меня к себе, как друга, приблизил, кому я крест целовал и ради кого готов теперь пить смертную чашу!

Суровый слугитель Божий, сидевший опершись львиной головою на руку, метнул на говорящего одиноким глазом огневую молнию. Но прямодушная молодость и свежая мощь, веявшая от всего существа юного гостя, разгладили насупленные черты инока.

— Не токмо по долгу пастырскому, но и по доброй памяти о незабвенном родителе твоём (Царствие Небесное!) остерегал я тебя, сыне мой! — заговорил он значительно уже мягче. — Купно с ним, искуснейшим стратигом и воителем, татарву громили и под Тулой, и на Шиворони, и под Казанью, великим градом бусурманским. Что тут огненного бою, стрел и камней на нас пущено было со стен и башен! Когда же подбились под самые стены,

варами начали лить на нас и бревнами метать. Много нас на приступ пошло, мало вспять убралось! Были ж у нас по велению цареву под стены подкопы подведены, бочки с порохом подложены. Кликнул клич князь Андрей Михайлович: «Гей, вы, пушкарники мои! Кто на пороже мне зажжет свечу?» Призадумались пушкарники, стоят — молчат. «Аль мне, князю, самому идти?» Вышел тут молодой пушкарь: осенясь крестом, зажег свечу...

Рассказчик умолк и как бы в забытьи устремил свой единственный глаз неподвижно в пространство.

— И стены разметало, и город был взят? — досказал Курбский.

Настоятель молча головой кивнул.

— А пушкарь тот что же? И праху его, я чай, не доискалися?

Ответом был такой искрометный взгляд, что Курбский вдруг догадался:

— Это был ты сам, отче?

Отец Серапион не возражал, а, прикоснувшись пальцем к впадине своею вытекшего левого глаза, произнес совсем изменившимся, тихим голосом:

— Тем порохом, чем стены разметало, и свет Божий из очей моих выжгло. В те поры и правое око у меня помутилось. И дал я Господу моему обет такой: буде возвратит очам моим свет Свой, отдать себя на вечное Ему служение. И внял Господь, исцелил меня; стал видеть я правым оком зорче прежнего. Последним иноком принят был в эту самую обитель, а вот к концу дней привелось всею обителью править! Камень, отверженный зиждущими, стал главою угла, ревнителем древлего благочестия: именем Господа разрешаю и наставляю, покаяние налагаю и благословляю. Так-то вот, сыне любезный! — заключил игумен свой рассказ. — Поведал я тебе о себе затем, дабы знал ты, отчего я умилился над тобой. Так что же, ты, вопреки мне, все же едешь-таки за помощью к запорожцам?

— Прости, отче, но как же мне не ехать, скажи, коли я от царевича своего к ним послан? Да он сам, поверь мне, не даст им слишком лютовать; середь регулярной королевской рати им и без того придется подтянуться...

— Может, ты и прав... По всему, что слыш-

но, именующий себя царевичем Димитрием ведет себя как подлинный сын царский...

— Да он и есть сын царский! — воскликнул Курбский. — Я сколько вот времени был при нем, слышал, почитай, каждое его слово: он всегда тот же...

— Тебе, сыне мой, виднее, — глубоко вздохнул отец Серапион. — Как бы то ни было, тот, кто сидит ныне на престоле московском, как сказывают, покушался на жизнь царевича Димитрия, и спасся от его убийц царевич или нет, а Годунову на престоле уже не место. Чинить помеху тебе я не стану. Твори волю пославшего тебя, как велит тебе Бог и твоя собственная совесть!

— Спасибо, отче, великое спасибо! И в конце мне ты теперь не откажешь?

— Конь-то у нас для тебя вряд ли подходящий найдется... Но скажи-ка: бывал ли ты уже когда на Запорожье?

— Не довелось.

— И наших порогов днепровских, стало, еще не видел? Надо бы тебе их посмотреть! И был бы у меня для тебя добрый попутчик. Одолжил бы ты меня немало...

— Да я, отче, все рад для тебя сделать. Кто этот попутчик?

— Отрок один... Поутру уже вас ознакомлю. Закалякались мы с тобой; очи у тебя, соколик, вишь, сами собой слипаются! — со снисходительной отеческой усмешкой прибавил настоятель, вставая. — Ложись-ка сейчас, и да ниспошлет тебе Господь под нашей мирной кровлей мирных сновидений!

Глава пятая ПОПУТЧИК

Проснулся Курбский поздним утром от стука растворяемой двери. Перед ним стоял его стремянной, Данило Дударь. Юноша быстро приподнялся с ложа и оглянулся на решетчатое оконце: сквозь его слюдяные стекла высоко стоящее солнце рисовало на белом некрашеном полу толстые полосы решеток и мелкий свинцовый переплет.

— Да я никак проспал заутреню?

— Эвона! — рассмеялся в ответ запорожец. — Сейчас, того гляди, к обедне затрезвонят.

— Так как же ты, Данило, не разбудил меня?

— Отец-настоятель не приказывал: пускай-де выспится — долгий путь впереди.

— А что бедный Вихрь мой?

— Да что, ваша милость: ногу ему еще пуще вздуло. Показал я его здешнему лекарю — тот только головой помотал: «Быть ему, мол, весь век хромым». Ну да святые отцы его тут упокоят. А вот не разберу я, что у отца Серапиона на уме? Выходя от заутрени, поманил меня пальцем, стал пытаться: ездил ли я когда вниз днепровскими порогами? «Не токмо ездил, — говорю, — а несчетно раз своеручно душегубку сквозь Пекло проводил». — «Добре», — говорит, кивнул и оставил меня стоять. Порогами вниз, что ли пустить нас хочет?

— Верно, что так. И мне вечер про то намекал: о каком-то попутчике-отроке говорил.

— Ова! Третью неделю уже, слышь, врачуется во здешнем шпитале сынок Самойлы Кошки.

— Как! Кошевого атамана запорожского про которого ты мне рассказывал?

— Эге. К отцу в Сечь со стариком-дядькой

собрался, да дорогой беда с ним приключилась: упал с коня да плечо себе повредил. Верхом-то ехать ему теперича, знать, и неспособно.

Когда Курбский, умывшись и одевшись, в сопровождении Данилы, вышел из своей кельи в полутемный крытый переход и повернул в сторону переднего крыльца, оттуда донося вдруг такой хватаящий за душу болезненный вопль, что молодой князь вздрогнул и невольно остановился.

— Что это такое? — спросил он.

— А кликуша, — ответил запорожец. — Отец Серапион до обедни, вишь, с богомольцами беседу ведет, всякому в утешение доброе слово скажет; ну, и бесов изгоняет.

Пронзительный вопль повторился.

— Иди один, Данило... Я покамест туда не пойду, — сказал Курбский и, взяв в противоположную сторону, рядом переходов выбрался на открытый воздух, как оказалось в монастырский огород.

Среди груш и яблонь тянулись гряды с разными овощами, пышными подсолнечниками и пунцовым маком; воздух кругом был напо-

ен духом трав, гудел пчелиным жужжаньем. А вот под деревьями показался мальчик лет тринадцати с подвязанной правой рукой, судя по наряду, — из зажиточных казаков, и с ним старичок-служитель.

«Сынок Самойлы Кошки!» — сообразил Курбский и пошел им навстречу.

Теперь его заметили, и миловидное, почти женственное, смуглое лицо мальчика залило румянцем. Но, словно устыдясь своего смущения, он окинул Курбского гордым, чуть не враждебным взглядом.

Курбский улыбнулся и, пожелав обоим доброго утра, обратился к дядьке с вопросом скоро ли обедня.

— Да вот отцу-настоятелю только бы кликушу утихомирить, — отозвался старик, внимательно оглядывая также молодого князя с головы до ног. — Как накрыл епитрахилью, — тотчас перестала биться. Я нарочно увел оттоль Гришука... то бишь, Григория Самойловича, потому кликушество, как злая зараза, особенно к слабосильным прилипчиво; а паныч мой не совсем еще оправился от болезни.

— Какая ж то болезнь, Яким! — счел нуж-

ным оправдаться в глазах Курбского Гришук, снова краснея, — плечо свихнул маленько...

— Не свихнул, паничку, а ключицу переломил! — с горячностью прервал его Яким и, очень довольный, казалось, найти нового слушателя для своей не раз уже, конечно, повторенной истории о постигшем его панича злоключении, продолжал, — едем, это, мы лещочком, ничего не чая. Меня, старика, от зноя, знать, и распарило, укачало; сижу себе в седле, носом рыбу ловлю. Вдруг панич мой:

«Глянь-ка, Яким, что за чудо? Не клад ли какой?»

Гляжу: в прогалинке, середь травы да цветов, лежит словно бы большущее железное колесо, на солнце как жар горит. Крий, Мати Божа! То змий лютый, желтобрюхий, колесом свернулся, на солнышке греется; а он, младенец несмышленный, за золото червонное его принял!

«Назад, паничу! То желтобрюх!»

И, куда! Упирается конь у него, фыркает, а он его еще нагайкой. Конь на дыбы да копытом хватить в середку колеса! Развернулся змей, зашипел, коню ноги обвил. Ну, конь, как оша-

лелый, в бок, и молодчик мой из седла. Первым делом я, знамо, к коню, чтобы от змея вызволить, голову чудищу одним махом отсек. Ан птенчик мой, глядь, в траве лежит недвижим, бездыханен...

— Головой о корень древесный ударился... — застенчиво пояснил со своей стороны панич.

— И головушкой, и плечиком.

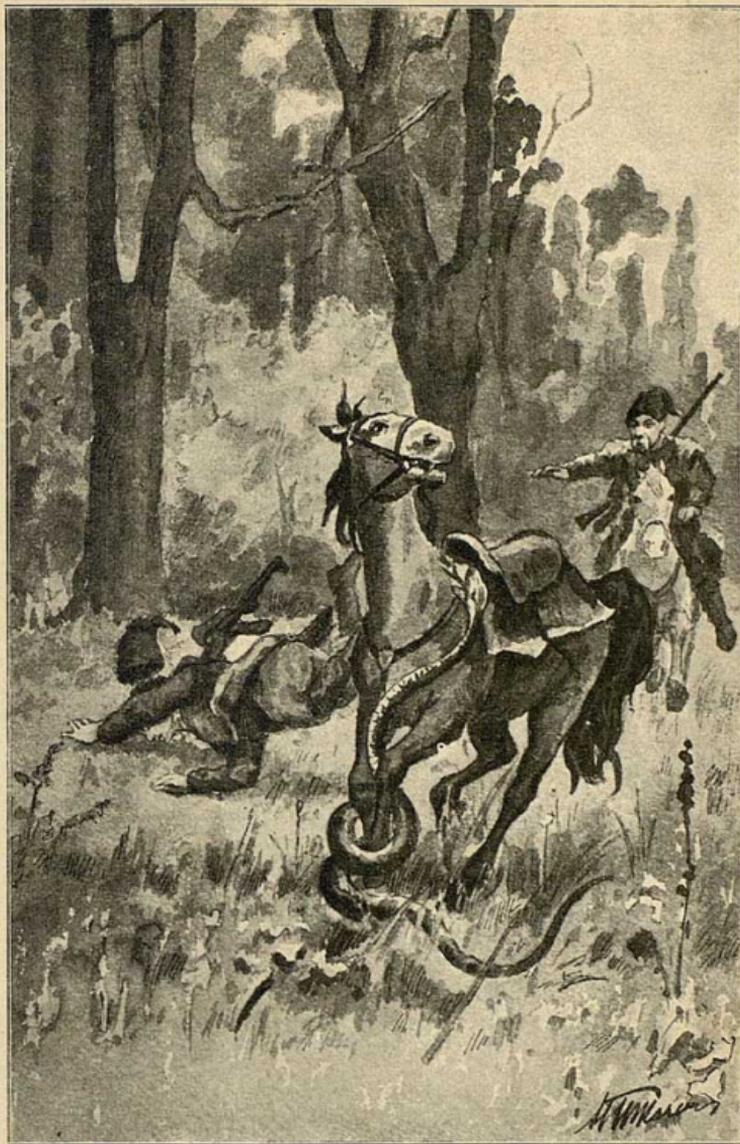
По алым губам мальчика пробежала плутоватая улыбка.

— Только голова покрепче плеча оказалась, — сказал он, — уцелела!

— Шути, шути! — укорил дядька. — И висок-то себе до крови раскроил, а плечо и совсем, поди, попортилось.

— Как спросят в Сечи, так могу хоть рассказать, что вместе с тобой в бою побывали! — не унимался Гришук, указывая на правую руку дядьки.

Что Яким побывал в бою, свидетельствовал глубокий шрам, пересекавший ему лоб и бровь; на изъян же в правой руке его Курбский обратил внимание только теперь; из рукава старика торчал обрубок кисти руки без



..Развернулся змѣй, зашипѣлъ, коню ноги обвилъ. Ну, конь, какъ ошалѣлый въ бокъ, и молодчикъ изъ сѣдла.

пальцев.

— Но как ты, любезный, саблей владеешь? — спросил Курбский. — Аль левой рукой?

—левой, — словно нехотя ответил дядька, пряча свою поврежденную руку, и перевел речь снова на своего питомца. — Благо, хошь не так далеко было до обители. Благодарение Богу да отцу лекарю, плечико у него теперь заживает, а все ж на коне до Сечи ехать поопасился: растрясет. Ехать же надоть бы, ни дня не измешкав.

— Родитель твой там, слышно, крепко занемог? — участливо отнесся Курбский к молоденькому сыну атамана. — С чего это с ним приключилось?

Веселое только что лицо Гришука разом опечалилось, и на длинных ресницах его блеснули слезы. Он хотел ответить; но углы рта у него задергало, и он закусил нижнюю губу, чтобы не расплакаться.

— Светик ты мой, соколик мой, ну, полно, полно! Не малыш ведь, слава Богу! — ласково забрюзжал на него дядька, а затем ответил за него на вопросы Курбского. — Да изволишь

видеть... Который год уж батька его ушел от семейки своей в Сечь — не потому, чтобы.. нет, жили они с жинкой ладно и совестно, — да старого казака все, знаешь, в Сечь тянет, что волка в лес. Ну, а на поход противу турчины, как потонул старшой Скалозуб, другого, окромя пана Самойлы, на место его не нашлось...

— И должен был он отречься от семьи родной, чтобы попасть во в старшие?

— Да как же ему было отказаться, коли его выбрали? — вступился тут за своего батьку Гришук. — Откажись он, так погубил бы с собой, может, все войско...

— Но сердца в груди не замолчишь! — подхватил старик дядька. — Пали до пана Самойлы слухи, что жинка у него скончалася, а была она у него добрая, смиренная, по хозяйству заботливая; и затужил он, затосковал так, что на поди! заговариваться начал. Как сведения мы о том в Белгороде, так и собрались вот с паничем в Сечь проведать родителя: из четверых птенцов единственный ведь остался! Увидав сына, как знать, может, в себя опять придет, утешится.

— Дело доброе, святое дело, — сказал Курбский. — Я сам тоже в Сечь путь держу. Упредил меня вечер настоятель, что есть мне юный попутчик...

— Так, так! — с живостью поддакнул Яким. — Ведь ты, прости, князь Курбский?

— Курбский.

— Сказывал он нонече и нам про тебя. С тобой он нас охотно порогами пускает. Яви такую милость, чтобы птенчику моему, грешным делом, какого дурна не учинилось. Вот и к обедне заблаговестили, — прервал сам себя старик. — Отстоишь с нами тоже?

Глава шестая

ЗА ОБЕДНЕЙ И ЗА ТРАПЕЗОЙ

Деревянный, не особенно обширный храм, несмотря на будничныи день, был наполнен прихожими богомольцами. Служил обедню сам игумен, отец Серапион. Если он своей замечательной личностью и в обыденной жизни производил уже на всякого сильное впечатление, то здесь, окруженный всею монастырской братией, среди церковного благолепия, перед высоким, раззолоченным иконостасом, при мерцании сотен восковых свечей и лампад, в клубящихся облаках голубого дыма камильниц, он являлся центром общего благочестивого настроения, как бы исходившего от него и невидимыми волнами разливавшегося на всех присутствующих, в том числе и на Курбского. С давно не испытанным умилением слушал он и стройный хор певчих на клиросе, и чтение святого Евангелия голосистым протодьяконом; особенно же тронула его за душу проповедь самого настоятеля, сказавшего плавно и пышно напут-

ственное слово «в пути сущим», разумея, очевидно, и его, Курбского, с его будущим малолетним попутчиком.

— Глянь-ка, Михайло Андреевич, направо, вон в угол, — расслышал он тут за спиной своей шепот Данилы, — вздулись ведь оба, что тесто на опаре!

Он повернул голову по указанному направлению и увидел двух коленапреклоненных: один был пожилой мужчина необычайной толщины, с испитым лицом, в монашеской рясе, другой — совсем еще юноша, но с такими же одутловатыми щеками и заплывшими глазами, в запорожской свитке. Первый неустанно и равномерно клал поклон за поклоном, тогда как второй, точно в столбняке, с тупой неподвижностью мрачно уставился в каменный пол перед собой.

— Монах-от — здешний чашник, — пояснил запорожец, — за непомерное «чревоугодие и вкушение пьянственного пития» епитимию отбывает, а молодчик — родным батенькой своим из Сечи на отрезвление прислан.

Когда отошла обедня, и отец-настоятель вышел из алтаря, вся толпа богомольцев хлы-

нула ему навстречу — принять благословение. Но он опять сделал молчаливый знак рукой и направился к двум покаянникам в правом притворе. Курбский вместе с народом двинулся туда же.

— Ну, что, сыне мой? — спросил отец Серапион чашника строго, но не возвышая голоса. — Скорбишь ли?

— Скорблю и стенаю... — был глухой ответ. — И вспомнить страшно, сколь был бесстыж и невоздержан!

— А впредь остережешься?

— Остерегусь, святой отче!

— Клянешься в том?

— Клянусь Господом моим...

— Сам Сын Божий рече: «Радость бывает на небеси о едином грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведных, не требующих покаяния». Редкого гостя ради слагаю с тебя ныне же вину твою. Иди и не греши.

Чашник со слезами благодарности припал к руке своего духовного начальника.

— А меня что же? — вызывающе прохрипел стоявший еще рядом на коленях юный

сын Запорожья.

— Рано! — коротко отрезал игумен, окидывая его из своего единственного глаза палящим взглядом, и круто отвернулся.

— Чернецы окаянные! — злобно пробормотал тот ему вслед, не смея, однако, подняться с полу.

К счастью дерзновенного, отец Серапион его уже не слышал. Богомольцы, тесня друг перед другом, ловили на ходу благословляющую руку отца-настоятеля, целовали край его одежды. Направляясь к выходным дверям, он звучным басом затянул канон. Примкнувшие к нему монахи разом подхватили торжественную песнь и вереницей попарно потянулись за своим главою на церковную паперть, а оттуда, с тем же пением, мостками, переложенными через весь двор, к обительской трапезе.

Курбский, сторонясь толкотни, несколько поотстал. Тут около него очутился молоденький белец и попросил его от имени отца-настоятеля следовать за ним.

— И ты, добродию, пожалуй тоже, — проронил белец кому-то позади Курбского.

Оказалось, что слова эти относились к Гришуку Кошке, который, точно боясь уже потерять своего покровителя-попутчика, увязался за ним, как дитя за нянькой.

Боковой дверкой они следом за бельцом прошли в красный угол келарни. Около незапрятого еще сидения настоятеля стояла кандия (медная чаша, заменяющая колокол в келарне) и возвышался аналой с Евангелием, а на стене над аналоем ярко горела золотыми окладами икон освещенная божница.

Вошедший тут главным входом с остальной братией отец Серапион, увидев своих двух молодых гостей, пригласил их молчаливым жестом занять почетные места по правую и по левую руку от себя и вполголоса ласково промолвил:

— Ознакомились?

После чего, оборотясь к инокам и сложив персты, погрузился в мысленную молитву. Примеру его последовали и старцы-монахи, и юнцы-послушники, и пришлые миряне, занявшие кругом места за расставленными вдоль келарни тремя рядами деревянных столов с переметными скамьями. Минуты две

протекли так, среди общего богомыслия, среди мертвой тишины.

Но вот отец игумен осенился крестом и ударил в кандию. Как по мановению волшебного жезла, трапеза мгновенно ожила: все разместились по своим местам, служки бросились со всех ног в «стряпущую» за «яствой», а с аналоя зазвучал нараспев протяжно-дробно и бесстрастно тенор очередного начетчика, читавшего из Четьи-Миней в назидание трапезующих житие Алексея, Человека Божия.

Никогда еще не случалось Курбскому столовать среди монастырской братии, и потому глаза его невольно разбегались по сторонам. Перед каждым столующим заранее было положено по здоровому ломтю хлеба и по деревянной ложке; через несколько человек были расставлены большие енды-купели с квасом и плавающим на поверхности ковшом, которым каждый желающий мог черпать себе прохладительный напиток.

Тут из стряпущей показались снова служки, нагруженные дымящимися мисками. Бесшумно, но расторопно разносили и расстав-

ляли они по столам миски. Келарь и только что прощенный чашник также неслышно шныряли взад и вперед между столами, наблюдая, чтобы никто не остался обойденным пищей и питием. А так как питье всех присутствующих, за исключением Курбского и Гришука, заключалось в одном квасе, и вмещавшие его объемистые сосуды не были еще опорожнены, то чашник, желая угодить смиростивившемуся над ним начальнику, то и дело вертелся около и поставил перед ним и его молодыми гостями целую дюжину больших и малых ендов и глечиков. Раз позволил он себе сам шепотом предложить Курбскому испробовать наливки своего изделия: по-ляниковой и вишневой; но Курбский, помня еще снотворное действие, крепкой монастырской варенухи, с благодарностью отказался.

— Так отведай хошь, сделай такую милость, игристого имбирного меда! — не отставал любезный «питий мастер» и налил, как Курбскому, так кстати и Гришуку по полной чаре.

Пришлось Курбскому отведать игристого напитка, который, в самом деле, оказался

преотменным. Гришук только пригубил чару, а затем запивал еду одним малиновым квасом.

Не могли они, впрочем, пожаловаться и на невнимание келаря: монашествующей братии, в том числе и самому отцу-настоятелю, подавались, постного дня ради, одни простые растительные блюда, пришлым богомольцам — после рассольника — щука да кисель; перед молодым князем и сынком кошевого атамана сменялись на блестящих оловянных тарелках одна другою снеди хоть и не мясные, но рыбные, преотборные и прелакомые, как-то: кулебяка, уха стерляжья, лец жареный, начиненный гречневой кашей и грибами, оладьи с сотовым медом; для заключения же трапезы отварные в меду грецкие орехи, яблоки и разное сухоядение: медовые пряники, винные ягоды, волошские и миндальные орехи.

Столованье шло благоговейно и чинно. Разговаривать во время трапезы было строго воспрещено, и лишь только кто-либо из мирян начинал покашливать и шептаться с соседями, сидевшие тут же монахи призывали

его к порядку. Отовсюду доносилось только чавканье и причмокиванье сотни ртов, и тем явственнее звучал от одного конца обширной келарни до другого однообразно-заунывный тенор начетчика, покрываемый по временам лишь звонким гулом кандии, когда настоятель подавал знак служкам к новой перемене.

Само собой разумеется, что Курбский остерегался нарушить общее молчание хотя бы одним словом; но, посматривая кругом, он не раз улавливал прикованный к нему взор Гришука, который всякий раз, как пойманный врасплох, краснел и потуплялся. Смущение мальчика забавляло Курбского, но, вместе с тем, все более и более располагало в его пользу: как железо тянется к магниту, так и магнит к железу.

Но вот начетчик зааминил: настоятель, а за ним разом и все присутствующие поднялись со своих мест и, повернулись к божнице, Богу кресты положили.

— Ступай-ка за мной, — проронил отец Серапион Курбскому и, предшествуя, двинулся из келарни, величаво наклоня свою льви-

ную голову направо и налево в ответ братии и мирянам, которые провожали его глубоким поклоном, касаясь перстами пола.

Глава седьмая

КТО БЫЛ ДЯДЬКА ГРИШУКА

— Так ты, сыне, не одумался? — начал отец Серапион, когда они с молодым господином остались одни. — Знаю, знаю! — прервал он, когда тот стал было объяснять опять неотложность своей миссии. — Отговаривать тебя, вижу, было бы втуне. А снабден ли ты королевским универсалом?

— Королевским — нет, — ответил Курбский, — но имею грамоту от царевича.

— Гм... Лучше бы от самого короля Сигизмунда. Ну, да делать нечего; и так, чаю, признают тебя в Сечи. А где она у тебя спрятана, грамота-то?

— В шапку зашита.

— Правильно. Мало ль что дорогой может приключиться! А в шапке искать никому невдомек! И с попутчиком уже столкнулся?

— Давеча договорились с ним и его при-

служником.

— С прислужником... ох, уж этот мне прислужник!

— А что, отче, разве он ненадежен? Настоятель немного помолчал, видимо, колеблясь, посвящать ли молодого гостя в свои сомнения; потом, решившись, заговорил:

— И власы на главах наших изочтены суть! Но береженого и Бог бережет. Скажи-ка: разглядел ли ты его хорошенько?

— Якима? Как же! У него еще совсем особые приметы: на лбу шрам, а правая рука изувечена: пальцы обрублены.

— И он ее не прятал!

— И то ведь, будто прятал!

— А ведомо ли тебе, отчего?

— Отчего, отче? Не в честном бою, что ли, срубили ему пальцы, и совесть берет?

— Догадлив ты, сыне! Каков ни есть человек, а совести не заглушить. Изволишь видеть: тому лет двадцать, коли не боле, стали у нас тут по Днепру гайдамаки пошаливать, разграбили не один зимовник, угнали целый табун войсковой. Ну, и поднялось тут на них все товариство запорожское, перехватало всю

молодецкую шайку, да и расправилось по-свойски... Но одного молодца все же проглядели. Случись тут нашему вратарю занемочь, а был я в те поры еще простым иноком, и выпала мне очередь заступить болеющего. Ночь же выдалась осенняя, бурная: ветер так и воет, дождь — как из ведра. Сижу я в своей сторожке, как вдруг — чу! словно в било бьют? Только слабо таково, еле слышно. Али ветром било качнуло? Пойти, посмотреть! Засветил фонарь, запахнулся рясой, пошел.

«Эй, кто там?»

Из-за врат же в ответ мне только стон тяжкий. Посветил фонарем, глядь, — человек распростертый да весь кровью обагренный. Сила с нами крестная!

«Кто такой? — вопрошаю, — да отколь?» А его дождем так и хлещет, от дождя да ветра насквозь продрог: зуб на зуб не попадает.

«Смилуйся! — лепечет, — смерть моя пришла...» «Да что, — говорю, — с тобой?»

«Гонятся за мной... как собаку убьют...» — молвил и очи завел, обеспамятовал.

Коли гонятся за ним, убить хотят, — стало, недаром: преступник! Но несть человека без

греха, токмо один Бог. Сам Христос поучал нас: «Аще кто отвержется Мене пред человеки, отвержуся и Аз пред Отцом Моим Небесным». А был я в те поры еще на двадцать лет моложе, был зело мягкосерден и — пожалел горемыку! Поднял с земли, но куда с ним? Отцу лекарю сдать, вся братия проведает...

Настоятель глубоко перевел дух.

— И ты отнес его к себе в келью? — досказал Курбский.

— Отнес, да; обмыл ему раны, перевязал тряпицами (благо в шпитале обучился); а там пошел прямо к отцу игумену, разбудил и в ноги повалился:

«Так и так, мол, отче, каюсь: призрел, кажись, татя-душегуба, на душу грех взял».

Осерчал на меня немало игумен, за неблагоприятное сердоболие епитимию наложил, а сам все же не отвергся бедняги; воспретил мне кому-либо в обители о содеянном сказывать, велел безмешкотно по всем переходам, где проносил я своего гайдамака, следы крови смыть с полу, да ходить за страждущим у себя в келье, как за родным братом. Выходил я его ровно через шесть недель, а там взял с него

игумен клятву смертную — гайдамачество навеки бросить, и выпустили мы раба Божья глухою же ночью тихомолком за ворота монастырские на все четыре стороны. С тех пор о нем ни слуху, ни духу не было с лишком двадцать лет. «Не ушел, думаю, — от плахи, алибо от петли!» Вдруг, недели три тому, пожаловал он к нам с сынком Самойлы Кошки. Не сонное ли то видение? Да шрам и срубленные пальцы выдали молодца, хоть уж и не молодец он, а согбенный старец.

— Так вот кто этот Яким! — воскликнул Курбский. — А он тебе, отче, разве не сказался?

— Спервоначально нет. Но как стал я его выпытывать с глазу на глаз, как, мол, попал он в дядьки к своему паничу, поведал он мне все начистоту. Напросился он-де слугою в дом к ним в Белгороде еще тогда, когда панича его и на свете не было. Опосля же на своих руках мальчугу вынянчил, как родное детище досель холит и любит. Рад бы я ему веру дать, да чужая душа потемки; бирюка как не корми, а он все в лес глядит. Так будь же ты, сыне милый, щитом малому Григорию. Обещаешь ли

всемерно и ежечасно пещись о нем?

— Обещаюсь, отче.

— Храни же вас обоих Господь и Его чудотворцы! Скорбно мне пускать и тебя, и его, скорбно тем паче, что наемдни к нам сюда слухи дошли, будто бы на Низу около Пекла каменники опять проявились. Мало ли что праздные языки болтают! А все же надо опаску держать. Ну, а теперь снаряжайся, коли за-светло вам еще в Сечи быть. Донеси вас Бог, Никола в путь!

Глава восьмая ПО ДНЕПРОВСКИМ ПОРОГАМ

— Ну, вот и Днепр; а где же, Данило, твои хваленные пороги, где?

Так говорил шаловливо Гришук, подсаживаясь в лодке-дубе к запорожцу, усевшемуся уже у руля. Окружающая водяная поверхность по всей своей шири, в самом деле, едва колыхалась, отражая, как в зеркале, и зеленые берега, и голубое небо с молочно-белыми облаками.

— Ишь, загорелось! — добродушно усмех-

нулся в ответ Данило. — От самого Киева до сих мест — до земель запорожских, батюшка Днепр наш течет плавно, чинно; а как хлебнет тут хмельной браги — Самары запорожской, так старая кровь, поди, заиграет в жилах; почнет он метаться из стороны в сторону как шальной, запрыгает по лавам, забурлит, зарычит, что бешенный зверь, — держись только.

— А что такое «лавы», Данило?

— Лавы-то?.. А это, вишь, милый мой, поперек реки такие уступы скалистые, гряды каменные от гор, что тянутся к нам издалеча — из Галичины. Как их, бишь?.. Карпаты, что ли.

— А товарищ твой, братику, куда девался? — спрашивал между тем старик Яким одного из двух гребцов, нанятых до Сечи. — Долго ли нам его дожидаться?

— За хлебушком пошел... Черт старый! — огрызнулся тот на него сквозь зубы, искоса поглядывая в ту сторону, где скрылся его товарищ за береговыми камышами.

В это время, сажень на сто ниже по реке, выплыла из заводи лодочка-каюк с двумя

гребцами.

— Что это, рыбаки, видно? — спросил Курбский, поместившийся на боковой скамейке насупротив Якима.

Гребец сделал вид, что не слышит.

— Что глухаря корчишь? — заметил ему Яким. — Тебя, чай, его милость спрашивает: кто такие будут.

— Кто будут? — нехотя повторил тот. — Знать, рыбаки...

— Рыбаки-то рыбаки, да за какой рыбицей? Не за Двуногой ли? Вон как на весла налегли и назад в камыши, словно бы от кого хоронятся. А, приятелю! наконец-то. Где это ты запропал? — обратился ворчун-дядька к подбежавшему второму гребцу.

Этот не счел даже нужным отвечать. Отпихнув сильным толчком лодку от берега, он вскочил в нее и схватился за весло. Несколько дружных взмахов веслами — и наших пловцов вынесло на середину реки. Гребцы не прилагали почти никаких усилий, а лодку несло быстрым теченьем, как на полных парусах, навстречу какому-то смутному, гулли-вому шуму.

— Что, сынку, слышишь? — отнесся Данило к Гришуку. — Это первый порог наш — Кодак — голос подает... С версту еще туда ведь, а каково поет-то?

По мере приближения шум все усиливался, перед самым же порогом стал так оглушительен, что своего собственного слова, произнесенного обыкновенным голосом, нельзя было расслышать.

— Держись крепче, паничу, да и ты, княже! — крикнул Данило.

Не спуская глаз с фарватера перед собой, он уверенно правил рулем, а свободной рукой снял с головы шапку и набожно перекрестился. Примеру его последовали все сидевшие в лодке; все разом примолкли, а лица у всех стали необычайно серьезны, как перед чем-то роковым, неизбежным.

Вдруг лодку захватило будто сверхъестественной силой. Среди пенистых брызг и ошеломляющего плеска и гула ее несет неудержимо вниз с уступа на уступ. Бессчетные каменные груды мгновенно то вырастают над волнами, то исчезают под ними и толкают, подбрасывают лодку так, что надо все-

ми силами держаться за борт, чтобы не быть выброшенным.

Минута — и они уже в плесе под порогом, и плывут по-прежнему мирно, спокойно.

— Ну что, небось, жутко было? — с улыбкой спросил Данило Гришука.

— Как не жутко!.. — должен был признаться мальчик, на побледневших щеках которого снова выступил румянец. — Сердце так и захолонуло... А много их счетом?

— Порогов-то? Девять.

— Девять! Помилуй Бог! И далеко до следующего?

— Верст семь будет: отдышаться поспеешь. И батюшке Днепру тоже надо дух перевести, не все же бесноваться. Да это что — вниз по течению плыть!

— Так разве и вверх плывут?

— Не то что плывут, а тягой идут. Как шли мы это походом в инфляндскую землю, так чайки свои канатами через все пороги вверх тянули, а чайка-то каждая, шутка сказать, человек на пятьдесят-шесть-десят.

Наблюдательный панич, набравшись опять смелости, не отставал с расспросами, и

болтливый по природе запорожец охотно удовлетворял его любознательность. Старик Яким же и Курбский, сидевшие посередине лодки друг против друга, оба молчали, погруженные в раздумье.

— Яким и всегда-то больше молчит, — тихонько заметил Гришук Даниле. — Но что с твоим князем, скажи? По родным, что ли, взгрустнулося?

— Есть ли у него еще где родные — сказать тебе не умею. Но что у него есть зазноба сердечная, краля писаная, — это верно. Диво ль, что молодцу по суженой взгрустнется!

Смутные щеки миловидного мальчика залило огненным румянцем, черные брови его сумрачно сдвинулись.

— Но на руке его нет колечка, — отрывисто пролепетал он, — значит, он с нею еще не сосватан?

— Эх, ты, глупыш, глупыш милесенький! Меняйся кольцами, не меняйся, — от суженой, как от смерти, не отчужаешься, не спрячешься.

— Так он бежал от нее? Где она теперь, да из каких? Боярышня тоже московская?

— Ишь ты, приткий какой вопросами, что горохом, засыпал. Много будешь знать — со-старишься.

— Ну, скажи, пожалуй, Данилушка, скажи!

— Спроси его сам: авось, скажет.

— Чтобы я его спросил? Что еще выдумал!

— Да и спрашивать не к чему: что в сердце глубоко от себя самого хоронишь, о том никому не промолвишься, особенно мальчуге, у коего и молоко на губах не обсохло.

Безбородый молокосос обиженно надул губы, но в это время лодку подхватило опять стремительным потоком и втянуло во второй порог, Сурский. Этот падает всего двумя «лавами», поэтому Гришук не успел даже ахнуть, как порог был уже за спиною.

— И вот уж не жутко! — захрабрился он.

— Покуда-то что!.. — пробормотал запорожец с озабоченным видом. — Дал бы Бог только миновать Ненасытец...

— А тот разве очень уж ненасытен?

— И-и! Сколько душ христианских на нем стибло, — и не перечеть. По всему берегу могила у могилы. Зовут его тоже Дидом, затем, что он всем порогам дед, только дед куда лю-

тый. Как попадешь к нему в Пекло, так пиши пропало: «Попавсь у Пекло, буде тобі и холодно, и тепло».

— И сейчас вот он и будет, этот Ненасытец?

— Нет, теперь пойдут еще два других порога: Лоханский и Звонецкий; а там уж он сам — пятый. Смеяться тогда забудешь!

Мальчику и то было уже не до смеху: их помчало Лоханским порогом. Только когда они с двухаршинной высоты благополучно соскользнули опять на спокойный плес, он перевел дух. Здесь Данило обратил его внимание на две огромные каменные глыбы:

— Вот и камни-Богатыри. Сошлись здесь однажды на смертный бой два богатыря: турка и русский. Да чем даром кровь им лить, порешили меж собой на том, что кто камень через реку перебросит, тому и владеть всей речною округой. Размахнулся турка с левого берега на правый, да неладно: не докинул. Размахнулся русский с правого берега — как раз на левый угодил. Так-то вот с тех пор и лежат те камни-Богатыри: русский на сухом берегу, а турецкий в воде. Только турку и видели!

От Лоханского порога до Звонецкого целых семь верст.

Перед Звонцем подвижная картина бушующей воды оживлялась еще бесчисленными кричками, низко перепархивающими с камня на камень и мелькавшими на солнце своими белыми крылышками. Впечатлительный мальчик забыл уже о Ненасытце и крикнул Курбскому, перебивая шум воды:

— Смотри-ка, княже, смотри, сколько кричек! Вот бы выпалить в середку!

— Одной пулей? — улыбнулся в ответ Курбский. Гришук покраснел.

— А что ж, и одной пулей можно уложить их десяток!

— Попробуйся.

И Курбский подал ему свое немецкое ружье.

— А ты думаешь, я не умею стрелять? — вскинулся мальчик, еще более вспыхнув, и принял ружье.

В это самое время с ближайшей гранитной глыбы поднялась на воздух громадная птица.

— Орел, орел! — заликовал Гришук и взвел курок. Данило схватил мальчика за руку и на-

сильно отнял у него ружье.

— Упаси Бог! Нешто можно на порогах трогать царя птиц?

Борьбы между ними почти не было; но лодка была уже выведена из равновесия, наскочила на подводную скалу и, подброшенная следующей волной, поднялась дыбом. Опытные гребцы, точно предвидя подобный случай, разом оттолкнулись веслами. Хотя нос лодки благодаря этому опять и опустился, но сама она уклонилась уже в сторону от узкого фарватера и с треском села на подводный камень.

Один из гребцов не спеша снял с плеч свитку, разулся и полез в воду. Оттого ли, что вода доходила ему выше пояса, и от быстрого течения ноги его не находили твердой опоры; оттого ли, что киль лодки врезался меж подводных камней, — но все усилия гребца привели только к тому, что лодка повернулась боком. Сидевших в ней стало качать, как в бурю на море, и беспрестанно еще обдавать с головы до ног пенистыми брызгами.

Пришлось и второму гребцу спуститься в воду на помощь товарищу. Не мало времени

провозились они так, пока не сняли лодки с мели. Яким не переставал брюзжать на обоих; Данило ему вторил; но за неумолкаемым шумом порога слова их почти нельзя было разобрать. Зато, когда оба гребца влезли обратно в лодку, и ее вынесло снова из пучины в полую, тихую воду, те принялись наперерыв отчитывать «лодарей», которые с умыслом-де гребли неровно, чтобы сесть на «скелю», а как сели, так нарочно загомозились.

— Ну, ладно, будет! — сказал Курбский. — Какой же у них был расчет?

— А такой, значит, расчет, — отвечал Яким, — чтоб нам не нагнать тех рыбаков.

— Твоя милость не видел разве, — подхватил Данило, — как один толкал лодку в одну сторону, а другой в другую?

Оба гребца до сих пор угрюмо молчали. Тут один из них не выдержал и напустился на Данилу, что тот не умеет править рулем, а другой добавил, что виноват панич, что хотел стрелять орла.

— Ну вже так! Мы же и виноваты! — вскричал запорожец. — Но наперед говорю вам, любезные: коли что стрясется над нами,

так и вам несдобровать, не будь я Данило Дударь!

Глава девятая

У «ДИДА» В «ПЕКЛЕ»

Наступило общее молчание. Впереди был Ненасытец, порог из порогов, и никому не было уже до перекоров. Первые четыре версты от Звонца река постепенно расширяется до двух верст с лишком и течет поэтому медленно, ровно, будто собираясь с силами. Но на пятой версте ее путь заграждается сперва одним большим островом, потом другим, и в стесненном русле она вдруг ускоряет свой бег. Еще за целые две версты до Ненасытца явно доносится глухой гул низвергающихся вод. Гул этот становился все громче и грознее, и вот сейчас должен был настать роковой миг. Смерть чудилась каждому, невидимо витала над ними.

— Прощай, Михайло Андреевич! Прощай, милый, паничу, и ты, старче, и вы, братове! Не поминайте лихом, коли горячим словом обидел! — расчувствовался Данило и, сняв

шапку, стал истово креститься.

За ним и все другие начали прощаться меж собой и, обнажив головы, творить про себя молитву.

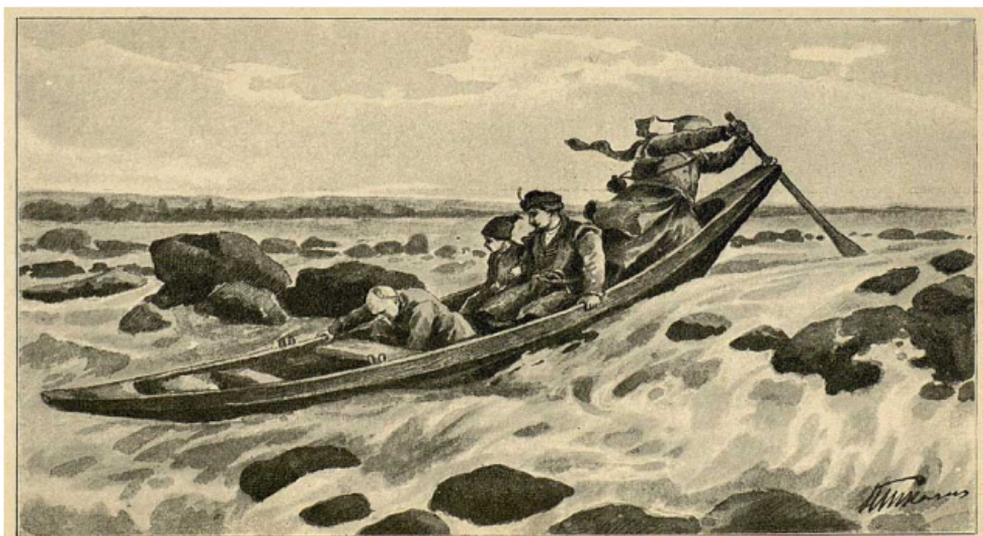
Гребцы, снявшие свитки и сапоги еще на Звонецком пороге, так и не оделись, не обулись снова, а завернули свои вещи в один общий узелок. Когда же тут лодка стала огибать выдающийся мыс острова, один из гребцов нагнулся зачем-то под свое сиденье и вдруг швырнул с размаху узелок с вещами в прибрежные кусты.

— Ты что это, вражий сын, а? — гаркнул Данило.

Вместо ответа, оба гребца бросили в воду свои весла, и каждый с своей стороны прыгнул вслед, чтобы поплыть к острову, тогда как оставшихся в лодке несло далее со стремительной быстротой. Между тем из днища лодки хлынула вода и стала заливать лодку; очевидно, тот гребец, что наклонился сейчас под свое сиденье, вынул из днища втулку.

Данило разразился, разумеется, самой невозможной бранью, но как рулевой, был прикован к своему месту. Старик Яким, не

тратя лишних слов, заткнул своей собственной шапкой, насколько мог, дыру, из которой была вода; Курбский же и Гришук не смели даже пошевелиться, потому что без весел помочь делу все равно не могли, а всякое движение их, напротив, могло бы оказаться для всех губительным. Оставалось положиться на искусство рулевого да милость Божью!



Оставалось положиться на искусство рулевого да на милость Божью!

Вот впереди выросла группа скалистых островков. Кипя и пенясь, река широкой дугой отпрянула от них и налетела на первую лаву — нагроможденный поперек всего ее русла гранитный гребень. С налета перенесло

лодку через гребень, чтобы низринуть с крутого уступа.

А там все новые и новые преграды: гранитные глыбы, скалистые мысы, отвесистые утесы. И мечется старик Днепр меж них из стороны в сторону, как ошалелый; снова низвергается с головоломной лавы, и еще, и еще, и все мчится вперед, крутится, разбивается огромными валами, рассыпается пенистыми брызгами, взвивается к небесам облаками водяной пыли, и ревет, и воет, и стонет... А вот и самое «Пекло» — зияющий водоворот...

Когда Курбскому впоследствии случилось вспоминать про Ненасытец, из всех захватывающих ощущений, испытанных им здесь в течение каких-нибудь двух минут, особенно ярко выступало одно это мгновение, неизбежно и неумолимо страшное, как сама смерть. И, что всего удивительнее, одного этого мгновения ему все-таки было довольно, чтобы охватить взглядом все окружающее и заметить за водоворотом, в тихом плесе, три лодки, в том числе ту самую с «рыбаками», которая давеча их опередила.

«Они нас поджидают!» — молнией мельк-

нуло у него в голове мимо главной мысли, которая, без сомнения, была у каждого из сидевших в лодке: «Пронеси, Господи!»

И Господь пронес их. Неудержимым напором падающих в «Пекло» вод лодку, как щепку, выбросило опять из клокочущего водоворота. Но другая опасность зато возвратилась: при отвесном падении лодки в «Пекло» старик Яким не мог уже сохранить своего наклоненного положения, чтобы зажимать шапкой отверстие в днище лодки, и ее тотчас начало заливать. Тут вовремя, однако, подоспели подстерегавшие в плесе три лодки. Стоявший на носу передней здоровенный детина отчаянного вида приветствовал наших пловцов грубым торжествующим смехом:

— Милости просим, дорогие гости!

Курбский, вместо ответа, выхватил из-за пояса пистоль, взвел и спустил курок. Но старик Яким успел толкнуть его под локоть, и пуля пролетела через голову разбойника.

— Ай, да старина! — захохотал тот опять. — Ты с нами, вижу, заодно?

— А то как же? — был ответ. — Как не выручить старого приятеля Бардадыма! Ну, кня-

же, сдавайся-ка подобру-поздорову: сейчас и так потонем.

Положение, действительно, было безвыходное. Лодку залило уже наполовину. Миг еще — и они начнут тонуть. Но Курбский был еще очень молод. Он не думал уже о том, что их всего двое — он да Данило — против целой шайки, ни о том, что погибни они — погибнет, пожалуй, и все дело царевича Димитрия. Он обнажил свою турецкую шашку и прыгнул в лодку Бардадыма. Прыгнул, но недопрыгнул: Яким на лету обхватил сзади его ноги, и Курбский грохнулся ничком в разбойничью лодку. Бывшие там не замедлили навалиться на него, и как он ни барахтался, а был скручен по рукам. Что пользы, что верный друг его, Данило, накинулся на изменника Якима и схватил его за горло! Кто-то из ближайшей лодки хватил самого Данилу веслом по голове, и он со стоном повалился в свою лодку, или, вернее сказать, в наполнявшую ее воду, потому что лодка шла уже ко дну.

Глава десятая

КАК КАМЕННИКИ ДУВАН ДУВАНИЛИ...

Описанная сейчас сцена произошла гораздо быстрее, чем можно было ее рассказать. Теперь, когда всякое сопротивление было сломлено, все пошло, как по щучьему велению. Все три спутника Курбского были живо вытащены из воды и размещены по трем разбойничьим лодкам. Даже все почти пожитки их были спасены, все, кроме ружей Курбского и Данилы, что особенно огорчило Данилу. Он стал опять браниться, но Бардадым тотчас распорядился заткнуть ему «тряпицей» крикливую глотку.

— А теперь завяжите-ка всем глаза.

— Только не мне, — возразил Яким. — Я — свой брат. Аль все еще не опознал?

— Жигуля! — узнал его тут наконец и Бардадым. — С того света, что ль, повывылся?

— С того, нарочно ведь вам в сети эту важную рыбку заманил.

— Так ли, полно, чоловиче?

— Э-эх, Бардадымушка! Фофан же ты, фофан! Ведь ты кем тут, в молодецкой шайке, ноне состоишь-то? Должно, атаманом?

— Атаманом не атаманом (атаман в отлучке), а все же есаул я...

— Ну, и я тоже двадцать лет тому был есаулом; не хуже тебя в здешних пещерах всеходы и выходы знаю. Как хотел, так давным-давно бы вас предал.

— Так чего же ты двадцать лет к нам глаз не казал?

— Да я ведь калека: какой же я вам был бы товарищ?

— А нынче зачем порадовал?

— Затем, что старость одолела со всякой хворью и немощью: похотелось перед концом своим старые места повидать, старых товарищей проведать: не жив ли еще кто? И вот, не даром, вишь заглянул! С тобой, другом сердечным, встретился! Да чтобы не прийти с пустыми руками, привел вам и живого мясца: молодого князя русского, посланца царевича Димитрия московского: возьмете за него богатый выкуп.

— Коли так, то спасибо тебе, друже милый.

А хлопчик этот чей будет?

— Хлопчик — сынок кошевого атамана за-порожского, Самойлы Кошки...

— О? Так и за него сорвем не малую толику. Ну, братику Жигуля, исполать тебе! Дай, поцелую.

У Курбского глаза были завязаны, но он слышал весь разговор, а теперь до слуха его долетел и смачный товарищеский поцелуй двух есаулов: нового и старого.

Лодки причалили к берегу, и трех пленников, как беспомощных слепцов, высадили под руки на сушу, после чего повели за руку же далее. Курбского, как самого почетного гостя, вел сам начальник шайки. Обиталище разбойников находилось не на самом Днепре, а в одной из выходящих к нему балок. Шли туда чуть ли не целый час. В действительности, прямой путь был, конечно, значительно короче; но Курбский не мог не заметить, что его ведут умышленно окольной дорогой, чтобы сбить с пути: они то карабкались вверх по откосу, то спускались в глубокий овраг, сворачивали то вправо, то влево, то как будто возвращались даже несколько назад и кружи-

лись на одном месте. Наконец им пришлось пробираться сквозь густой бурьян, и когда они тут остановились, на них пахнуло, как из погреба, холодом и сыростью.

— Ну, вот, мы и дома! — объявил Бардадым. — Только ты, княже, нагнись-ка маленько: чертоги у нас не княжеские, ворота не по твоему росту.

Курбский наклонился; тем не менее шапка его задела не раз за низкий свод прохода в пещеру, а плечи за стены.

— Эй, огня! — крикнул Бардадым и снял повязку с глаз пленника.

Сначала Курбский не мог почти ничего различить, потому что единственный свет, проникавший в скалистое подземелье, исходил из небольшой расщелины где-то в вышине. Но когда вспыхнула лучина, а затем затеплился и каганец, он разглядел отчетливо всю пещеру. Она была довольно высока, выше сажени, и просторна: до пяти сажен в длину и до трех в ширину. Как раз под расщелиной было приспособлено нечто вроде очага с большим котлом, вокруг которого завозились теперь кухари — два дюжих молодца с засу-

ченными рукавами. Дым от разведенного ими на очаге огня выносило сквозь расщелину наружу: весь утесистый свод вокруг нее был уже закопчен дымом. Середину пещеры занимал большой стол, но ножки его, или, вернее сказать, заменявшие их древесные обрубки были так низки, что сидеть за столом на лавках было бы очень неудобно: поэтому ни лавок, ни каких-либо иных сидений не полагалось. В стороне на каменистом полу было устроено одно общее ложе из прошлогодних листьев и циновок.

«Неужели и нам придется спать здесь вместе с ними!» — не без отвращения подумал Курбский.

Но начальник шайки уже позаботился о «дорогих гостях»: по его знаку, один из разбойников полез в какое-то темное отверстие в отдаленном углу пещеры и достал для них оттуда пару звериных шкур.

Хотя Бардадым и начальствовал только временно за отсутствием атамана, но пока подчиненные не выходили у него из повиновения. Когда же тут на столе были разложены оружие пленников и их дорожные вещи

(кстати сказать, насквозь промоченные), всякая субординация была забыта: вся хищная орава наперерыв накинулась на то, что кому более приглянулось. Поднялся крик и гам; не обошлось бы, вероятно, и без потасовки, не вступишь в дело Яким-Жигуля.

— Эх вы, каменники-горе! — перекричал он всех. — Забыли, знать, стародавний завет наш: делить дуван по совести, по-божески?

— По совести, по-божески! — передразнил его Бардадым, который, благодаря своей телесной силе, захватил из «дувана» львиную долю. — Ноне, брат Жигуля, у каменников нет ни совести, ни Бога.

Против этого, однако, запротестовали хором все остальные каменники и пристали к Жигуле, чтобы тот объяснил им, какой это такой «божеский» дележ.

— А вот такой, — отвечал Жигуля, — простого прохожего, бывало, и пальцем не тронем: что за корысть? «Иди себе, миленький, с Богом!» Убогому же странничку сунем в руку еще алтын денег, положим в котомку краюху хлеба: «Помолись, мол, святым угодникам за нас, грешных!» Зато как подвернется раз тол-

стосум-купчина, с товарами заморскими, либо вельможный пан, так его, голубчика, облупим, как липку! Ежели же поведет себя смирененько, не станет перечить, так и царапинки ему не причиним, не токмо крови не пустим, угостим еще на прощанье, чем Бог послал; только заклятье возьмем перед святой иконой — держать язык за зубами.

— А с дуваном-то как же? — спросил один из слушателей.

— Погоди, о том сейчас речь пойдет. Добычу, кому бы ни досталась, на общий стол. Все по ряду, по чину. Богу свечку затеплим, в купе образу помолимся... А у вас тут, поди, ни свечки, ни образа и в помине нет?

Рассказчик окинул пещеру до самых темных углов внимательным взглядом.

— Нет, нет, еще не обзавелись... — не то смущенно, не то сердито пробурчал Бардадым. — Ну, а далее что же?

— Далее уже наибольший — атаман, есаулы, буде атамана нет на месте, зачинал де-леж: первую долю — на церковь Божию (потому, кому болей грехов замаливать, как не нашему брату); другую долю — на прогулы; а

третью уж — в дележку, всякому по заслугам в деле.

— И все оставались довольны? — спросил опять кто-то.

— Все до единого. Всяк знал же, что делено по совести.

— А что, паны-молодцы, не дать ли нам Жигуле поделить наш дуван тоже по совести, по-божески?

Предложение нашло общее сочувствие. Сам есаул Бардадым, из уважения ли к своему почтенному предместнику или в предвидении неуспеха возражения, не промолвился ни словом.

— Спасибо вам, детки! Останетесь довольны, — сказал Яким-Жигуля, низко кланяясь на все стороны; затем с таким же поклоном обернулся к Курбскому, который, расположившись вместе с Данилой и Гришуком в стороне на звериных шкурах, был молчаливым свидетелем совещания разбойников. — Ну-ка, ваша милость, не обессудь, коли тебя трошки побеспокоим. Одежи на тебе мы не тронем, не бойся! Как же тебе, князю вельможному и посланцу царевича московского,

явиться перед раду запорожскую голяком, либо в обносках? По платью встречают, по уму провожают. Да и шашки твоей и пистолей, кинжала покуда не поделим. Сложите-ка, детки, в сторонку. Может, царевич даст нам за них еще лишний выкуп. Но вот что у тебя, княже, в кошеле, то и царевичу твоему неведомо, — прибавил с усмешкой старик. — Занятно бы туда заглянуть! Где его у тебя искать велишь? Кажись, за пазухой.

И, не выжидая ответа, он залез уже рукой за пазуху Курбскому. Значительная часть денег была спрятана у того на теле в особом поясе, который снаружи нельзя было даже нащупать: на текущие же расходы он имел еще почти полный кошелек, который, действительно, хранился у него на груди во внутреннем кармане кунтуша.

— То-то я еще в обители заприметил, как твоя милость нищую братию оделял! — с той же самодовольной усмешкой продолжал старый разбойник, высыпая на стол из кошелька Курбского целую груду золота и серебра. — Эге! Да тут на всех нас хватит.

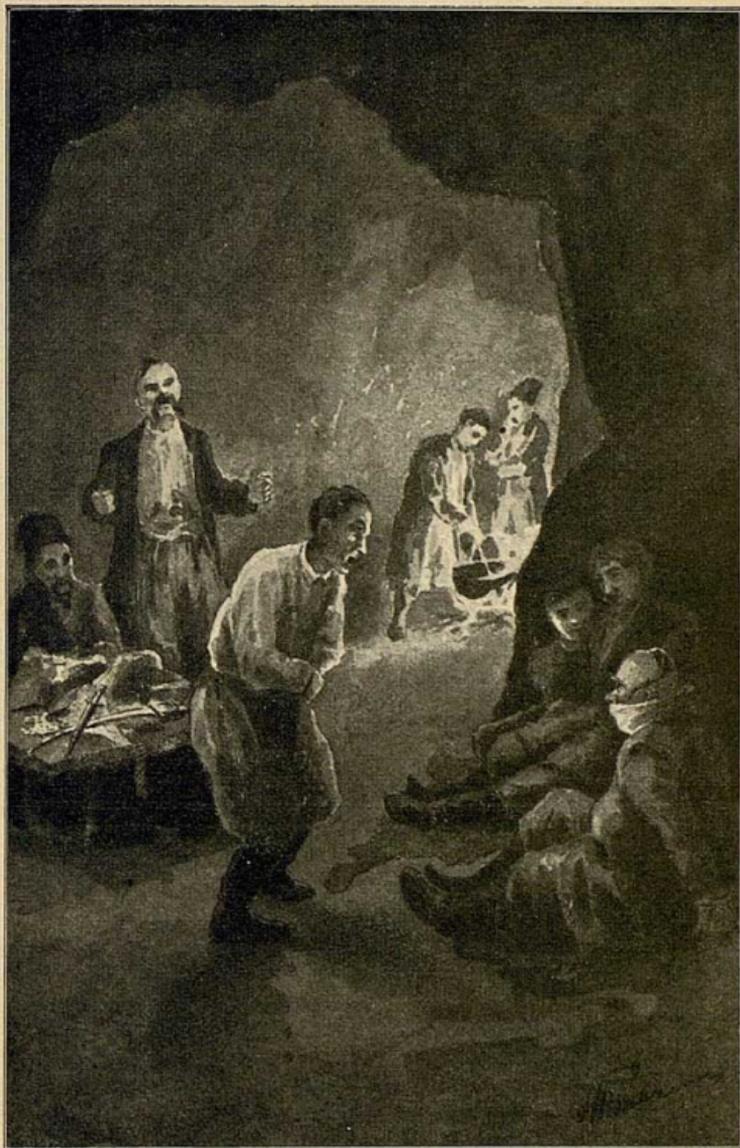
— Особливо, когда ты прибавишь еще каз-

ну твоего панича! — не без колкости подхватил Бардадым, который, по-видимому, не мог простить своему сопернику общее доверие к нему шайки. — Али себе все оставишь?

— Зачем себе, — отвечал Жигуля, доставая из голенища своего сапога затасканную кошину и вытрясая из нее точно также на стол все содержимое: несколько золотых, серебряных и медных монет. — Ну, а теперь, Данилушко, твой черед. Где казна у запорожца, и спрашивать нечего. Ну, ну, не брыкайся, друже милый: ведь у нас где лаской, а где и таской.

Локти у запорожца были скручены за спину; рот у него был заткнут тряпкой, завязанной еще для верности узлом за затылок: ни руками, ни языком он владеть не мог. Насколько это его возмущало, видно было по его лицу: все оно побагровело, жилы на лбу налились, глазные яблоки готовы были выскочить из головы. Но ноги у него были свободны, и одной из них удалось ему нанести наклонившемуся над ним Якиме такой удар в живот, что старик отшатнулся и скрючился от боли.

— Ох, сатана! Чтоб те на Страшный Суд не встать! Подите-ка сюда, детки, стреножьте его



— Ну, а теперя, Данилушко, твой чередь... Не брыкайся, друже милый.

покрепче, чтобы не брыкался.

«Детки» не замедлили исполнить приказание старого есаула, а кстати в усердии своем «стреножили» и двух других пленников. Без затруднения достав теперь из шаровар Данилы горсточку мелкого серебра да медяков, Жигуля приобщил их к общей массе, подлежавшей разделу.

— Ну, а теперя, детки, доложите-ка мне толком один за одним, чем кто отличился в этом деле.

И стали те по очереди докладывать, перебывая и поправляя друг друга. Все они сбились в кучу около низкого стола; поэтому Курбскому из его угла не было хорошенько видно, что там происходило. Но он слышал как весь допрос, так потом и распоряжения Жигули при самом дележе: часть денег была отделена на церковь Божию, другая — на прогул, а остаток уже, вместе с пожитками Курбского и Гришука, был распределен между удалыми молодцами по соразмерности их заслуг.

— Ну, что, детки, довольны ли вы моей дележкой? — в заключение спросил старик.

— Много довольны! Спасибо, дидусю! —

раздался хор голосов.

— А довольны, так пора и за почестен пир. Эй вы, кухари! Скоро ль у вас брашно-то?

— Зараз, батьку; не успеет стриженная девка косы заплести.

Глава одиннадцатая КАК ПИРОВАЛИ КАМЕННИКИ

В ожидании «брашна» вся удалая шайка расположилась на каменном, усыпанном песком полу вокруг низкого стола: кто на корточках, кто и врастяжку на животе, подпершись локтями и попыхивая «люльку».

— Ахти! а про честных гостей-то мы и забыли! — спохватился тут Яким-Жигуля. — Дайте им места, детки.

Те послушно раздвинулись и потеснились.

— Неужто, князь Михайло Андреевич, ты станешь кушать за одним столом с душегубами? — шепотом спросил Курбского Гришук.

— Ни за что! — был решительный ответ.

— И я тоже.

Но когда Яким повернулся к ним лицом и пригласил их не побрезговать, чем Бог по-

слал, Курбскому показалось, что тот украдкой подмигнул ему, как бы убеждая не упорствовать.

«А что, как он только притворяется, чтобы тем вернее спасти нас?» — мелькнуло в голове Курбского, и он отозвался вслух:

— Да ведь у нас ноги связаны.

— Так ты все же будешь кушать с ними? — удивился Гришук.

Курбский пожал плечами.

— От хлеба-соли не отказываются.

— Да и голод не тетка, — подхватил Яким, — а идти твоей милости даже не для чего: на салазках подвезем. А нут-ка, детки.

Суровым каменникам грубая шутка пришла по душе: несколько человек разом вскочили на ноги и со смехом подвезли всех троих на звериных шкурах к столу. Бардадым, чтобы поддержать свою власть над подчиненными, чересчур уж охотно слушавшимися старого есаула, отдал им в свою очередь приказ развязать пленникам на время еды руки, а Даниле и едало, причем, однако, предостерег запорожца, что бы тот не смел уже «брехать».

Первое блюдо состояло из борща, подданного кухарями в огромной деревянной чашке. Вооружившись деревянными же ложками, и хозяева, и гости принялись взапуски хлебать любимую национальную похлебку. По временам только тот или другой из разбойников вешал свою ложку на край чашки, чтобы перевести дух и зачерпнуть себе в кружку серебряным ковшом «горилки» из серебряной же, ведра в полтора, енды, как и ковш, очевидно, не купленной на рынке. Данило следовал примеру хозяев; Курбский же и Гришук довольствовались медом, который был подан им после отказа их от «зелена вина». Когда появилось на столе второе и последнее блюдо — верченое (жареное на вертеле) мясо, енда с горилкой была опорожнена уже наполовину, и разгоряченные лица, невоздержанные речи и пьяный смех всех членов удалой ватаги наглядно свидетельствовали если не о доброкачественности, то о крепости хмельного напитка. Всех громче и разговорчивее был Яким-Жигуля. Он был неистощим в рассказах о былых подвигах гайдамачьих, из которых особенно понравился слушателям следу-

ющий:

«Едет жид с ярмонки, остановился у речки коней напоить. Глядь — перед ним гайдамака с кием (дубинкой). Затрясся мой жид, как лист на осине.

— Чего тебе, чоловіче?

— Купи, жиде, кий!

— Да на что мне кий?

Тот тронул его кием по плечу. Видит жид, что не отвертишься.

— А что цена кию?

— Пятьдесят карбованцев.

— Цена сходная: получи свои деньги.

Взял гайдамака деньги, отпустил жида. По-ехал жид домой, а жинка ждет уже на крыльце.

— Доброго вечера, тателе!

— Доброго вечера, мамеле!

— Что привез с ярмонки?

— А вот что, — и кажет ей гайдамачий киек. Удивилась жинка:

— Что сие такое?

— Киек.

— Да где ты его взял?

— Купил.

— Купил! Для чего?

— Стало, треба.

— А что дал за него?

— Пятьдесят карбованцев.

— С ума ты сошел, тателе!

— Цыц, сердце! Кабы ты сама торговалась, так дала бы и всю сотню».

Хохотали каменники, хохотал Данило, не могли удержаться от смеха и Курбский с Гришуком. Но голод был утолен, и, по просьбе Курбского, его с двумя спутниками «отвезли» обратно в их угол, предварительно перевязав им опять руки. За столом же старый есаул еще более развернулся.

— Гей, пань-детки! — крикнул он. — Покажу-ка я вам тепереча, как в старину у нас угощались.

Подмешав горилки в ведерную братину с медом, он отпил первым, а затем пустил братину в круговую.

— Да нет ли у вас, детки, бандуры?

Бандура нашлась, и, ударив по струнам, старик затянул своим дребезжащим тенором:

*«Гай, гай! Як я бул молод,
Що в мини була за сила!*

*Ляхив нещадно бьючи,
Рука й раз не зомлила...»*

Все бражники дружно подхватили знакомую песню. За первой песней грянула другая, за другой третья.

— Ну вже, дидусю! — заметил кто-то. — Даром, что одной ногой в гробу стоит, а другой, поди, еще гопака пропляшет!

— И пропляшу! — гаркнул Жигуля, топая ногой.

— Ну, где тебе, старина!

— Пропляшу! — повторил он и, забренчав на своей бандуре гопака, пустился, в самом деле, в пляс.

— Ах, Яким, Яким! — укорил дядьку из своего угла Гришук.

— Постыдился бы на старости лет юродствовать, — добавил от себя Курбский.

В ответ Яким, все танцуя, подлетел к ним и шепнул два слова, от которых у тех сердце в груди екнуло:

— Потерпите: выручу.

После чего, как ни в чем не бывало, продолжал свой молодецкий танец.

Глава двенадцатая

КАК ЯКИМ СДЕРЖАЛ СВОЕ СЛОВО

— Слышал, Михайло Андреевич? — тихонько опросил Данило своего господина.

— Мне послышалось: «Потерпите, выручу», — ответил Курбский.

— И мне тоже! — подкрепил Гришук. — Уже коли Яким раз сказал, то так тому и быть.

— Да можно ли дать веру слову разбойника?

— Разбойником он был, но двадцать лет назад, с тех пор он служил нам верой и правдой.

— Панич прав, ваша милость, — поддержал мальчика, со своей стороны, запорожец. — Старый хрыч себе на уме: перво-наперво опить молодцов, а там сбежать с нами.

— Вот этого-то я и не возьму в толк, — сказал Курбский. — Если он верный человек, то не обманет своего старого товарища Бардадыма. Либо с ним, либо с нами.

— А вот погодим, узнаем; ждать, я чай, недолго.

Ждать разгадки поведения Якима пришлось, однако, довольно-таки долго. В былые времена, как известно, пиры продолжались куда дольше, чем в наш деловой век, где каждый час дорог. А каменники, как народ бесшабашный, и в разгуле не знали меры. Из потайного склада выкатили новый бочонок горилки, а там еще один.

Проникавший в пещеру из отдушины в вышине бледной полоской дневной свет уже потух: очевидно, за вечерело, а каменники по-прежнему «гуляли». Кто заснул тут же у стола на каменном полу, кто кое-как дополз на четвереньках до своего общего ложа в глубине пещеры, чтобы тотчас пустить глухой храп.

Наконец, тускло мерцавший на стене одинокий каганец освещал за столом только двух бражников, нежно обнявшихся вокруг шеи, как два неразлучных друга. То были два есаула: старый и новый. Старый охмелел, казалось пуще нового: то лопотал какую-то нескладицу, то мурлыкал песню, то лез целоваться со старым другом. У того глаза хотя

также посоловели и слипались, но он видимо бодрился и, точно не совсем еще доверяя старику, не выпускал его шеи.

— Так ты что же, братику Жигуля, так-таки и останешься уже у нас? — спросил он.

— Нехай сатана возьмет мою душу, коли не останусь!.. — был ответ костенеющим языком.

— И злоба на меня совсем уходилася?

— Злоба? На тебя-то злоба? Ах, ты, деревянная душа! Да нет у меня друга милее на белом свете!

— Так побратаемся, как быть следует, поменяемся крестами!

— Поменяемся, сердешненький!

Оба сняли с себя нательные кресты и обменялись ими, после чего запечатлели свой братский союз еще троекратным поцелуем.

— И будем мы отноне стоять брат за брата на жизнь и на смерть? — продолжал Бардадым.

— На жизнь и смерть! — повторил Жигуля.

— Как перед Богом?

— Как перед Богом...

Теперь последнее сомнение, видно, рассея-

лось у Бардадыма: он освободил свою шею от крепко обхватившей ее руки названного брата, чтобы удобнее приложиться опять к ендове.

— Смотри, князь, смотри! — испуганно шепнул Гришук Курбскому. — Яким заснул!

И вправду, точно лишившись последней опоры, старик бессильно склонился отяжелевшей головой на стол. Бардадым dokonчил сперва глоток, потом с глубоким вздохом припал щекой к плечу названного брата и мерно захрапел.

Гришук с горя-досады чуть не всплакнул:

— Ну, вот, ну, вот! Что же теперь с нами будет? Курбский стал было его утешать; но на полуфразе замолк. И было с чего. Яким внезапно зашевелился, бережно снял шапку с макушки Бардадыма, подсунул ее ему под щеку и обеими руками с той же осторожностью опустил голову спящего на край стола, после чего тихонько сам приподнялся, сунул в карман себе лежавший еще на середине стола кошелек Курбского с дуваном на церковь и прогул, приблизился на цыпочках к своим трем спутникам и, не говоря ни слова, про-

ворно распутал веревки, которыми панич его был связан по рукам и ногам; потом развязал Курбского и напоследок Данилу. По молчаливому знаку старика, все трое последовали за ним к выходу из пещеры, причем у очага должны были перешагнуть через растянувшихся тут же двух кухарей. Наконец-то они опять на воле! И дышится-то в ночном воздухе как легко и привольно!

— Припрячь-ка, княже, — сказал Яким, подавая Курбскому его кошелек.

— Но часть ты отделил ведь на церковь? — возразил Курбский.

— Как разживешься, так сам можешь вернуть церкви. А в пути каждый алтын дорог.

— Но темень какая! — заметил Гришук. — Хоть глаз выколи.

— Зато, коли пошлют в погоню, не так скоро разыщут, — возразил Яким. — Не знаю вот только, в каком месте у них поставлены кони...

Точно в ответ, неиздалека донеслось конское ржанье.

— Вон и сами голос подают! Ахти! — спохватился он вдруг. — А оружие-то мы забыли

в пещере!

— И то ведь! — сказал с досадой Курбский. — Ну, Данило, нечего делать, идем назад.

— Нет, нет, княже, Бога ради!.. — вскричал Гришук, хватаясь за рукав своего молодого защитника.

— Тише, милый! Неравно услышат.

— Умоляю тебя, княже, Христом Богом!

— Но как же мне явиться в Сечь без всякого оружия?

— Там у кого-нибудь новое купишь. Я, право, не пущу тебя...

— Так я один схожу, — сказал Данило. — Не осердись, Михайло Андреевич; мне, вишь, одна мысль сейчас в голову залетела: людишки они, эти каменники, что ни на есть последние, а спят теперича все мертвецким сном...

— Ну, так что же?

— А то, что всю шайку при сем самом раз в ангельский чин снаряжу. Нож в бок — и делу конец.

— Что ты, Данило! Креста на тебе нет! Убивать во сне безоружных...

— А скольких людей они сами живота уже решили! Не чини мне только помехи; я один с ними управлюсь.

— Нет, Данило; нам они оставили жизнь, и мы на них волоска не тронем. Недаром отец Серапион предрекал мне, что ты еще натворишь мне бед!

— Прости, государь, по простоте слова молвилось. Из твоей воли я не выйду. Они и без нас, я чай, до палачовых рук дойдут. А за оружием-то все же вернуться надоть...

Но тут вступился в дело старик Яким:

— Нет, братику, теперя и я тебя не пущу! Кто тебя ведает, что у тебя на уме!

— Да дерзну ли я без своего господина? Я трясусь за ним как хвост за бараном.

— Заговаривай зубы! Мы с Бардадымом побратались, я поклялся перед Богом не выдавать его с товарищами — и не выдам.

— А коней-то все-таки уведешь у них? — сердито усмехнулся Данило.

— За коней мы рассчитались дуваном. Ну, а теперя ступайте-ка все за мной.

Несмотря на почти непроглядный мрак, старый каменник шел по отлогому скату ле-

систой балки совершенно уверенно. Вскоре они очутились перед входом в другую пещеру, из глубины которой донеслось еще явственнее то же призывное ржанье.

— Ты, Данило, иди-ка со мной, — сказал старик, а вы, паничи, обождите тут.

Немного погодя, оба вывели из пещеры трех оседланных коней.

— Да ведь нас четверо? — заметил Курбский.

— Трое вас, — отвечал Яким с тяжелым вздохом. — Я не еду.

— Боже ты, Боже мой! — вскричал Гришук. — Клятва тебя держит?

— Клятва, да. Знать, такое уж мне предопределение вышло.

— Но ведь клялся ты разбойнику...

— А я чем же лучше? Свой своему поневоле брат. О себе же, касатик мой, не полошайся: князь Михайло Андреевич не откажет доставить тебя до места.

— Но ведь ты знаешь, Яким... коли пойдет в огласку...

— Знаю, радость моя, все знаю, что ты хочешь сказать. Но я сейчас вот поверил все Да-

ниле...

— И тайна твоя в груди у меня, что искра в кремне, — подтвердил запорожец.

— Но ты, Яким, остаешься здесь на верную смерть...

— От смерти, миленький мой, не спрячешься, — отвечал со вздохом дядька. — А может, Господь еще и помилует: ведь я же не убегаю с вами, а яко бы сплю теперича с ними в непробудном хмелю. Почем мне знать, как вы трое вызволили друг дружку, как раздобыли коней? Выведу я вас сейчас на большую дорогу — и с Богом!

Говоря так, Яким подсадил своего панича в седло, взял коня его под уздцы и пошел вперед. И вот они в открытой степи.

— Отсель, Данило, дорогу по звездам ты и сам найдешь? — спросил Яким.

— Еще бы не найти! — был ответ.

— А ты, княже, как пойдешь обратно из Сечи, не завернешь ли опять в Самарскую пустынь?

— Коли будет время, — отвечал Курбский. — Хотелось бы повидать еще раз отца Серапиона...

— Ну вот. Так от него, может, и оружие свое получишь: к нему прямо вышлю, буде Господу угодно будет еще дни мои продлить. Ну, а теперича храни вас всех Бог!

Он наскоро приложился к руке своего панича, и тот почувствовал на руке своей горячую слезу. Тут бедный мальчик не выдержал и с седла обнял за шею дядьку.

— Ну, полно, не махонькой ведь! — говорил растроганный старик, насильно отрываясь. — Авось, еще и свидимся... Прощай, княже! Прощай, Данило! Не забывай обеща-нья-то... Да коней, чур, не пускайте вскачь, чтобы паничу моему большого плеча не рас-трясло...

— Яким! Погоди еще, послушай... — в отча-яньи крикнул Гришук вслед уходящему.

Но тот уже не слышал, или не хотел слы-шать, и пропал в темноте ночи.

Глава тринадцатая

«ПУГУ! ПУГУ!»

Утреннее солнце сияло уже на небе, а наши три путника ни разу еще не сходили с коней. Пока заря не рассеяла сумрака безлунной ночи, движение их немало замедлялось пересекавшими степь извилистыми балками и выбалками, речками и речонками. Но и теперь им приходилось ехать только мелкою рысью, а то и шажком, так как недавно лишь сросшаяся ключица Гришука не выносила сильных толчков. Настроение же мальчика, несмотря на бессонную ночь и разлуку со стариком-дядькой, с первыми лучами дня разом переменилось. Как будто робея сам заговаривать с Курбским, он обращался с разными вопросами к Даниле и заливался звонким смехом над его, по большей части, шутливыми ответами. Так, спросил он запорожца, отчего у него одна только правая шпора.

— А на что мне другая? — отвечал Данило. — Как пришпорю коня в правый бок, так левый все равно бежит рядом.

— А нагайка у тебя для чего? — продолжал, смеясь, допытывать Гришук.

— Нагайка-то? Чтобы конь мой не думал, что не одни птицы по воздуху летают.

И в доказательство он нагайкой заставил своего коня сделать такой воздушный прыжок, что сам едва не вылетел из седла.

А солнце поднималось все выше и выше; становилось жарко.

— Хоть бы водицы испить! — вздохнул Гришук.

— А что, Данило, — сказал Курбский, — погони, верно уже не будет? Можно бы сделать и привал.

— Можно и должно! — согласился Данило. — В животе у меня самого словно на колесах ездят. Пропустили мы, жалко, два, а то три зимовника. Но вот никак опять один.

В самом деле, в отдалении, над зеленым ковром степи показалась небольшая землянка. Данило вонзил единственную шпору в бок замороженного коня, подскакал к окружавшему землянку плетню и издал условный запорожский клич:

— Пугу! Пугу!



Обычного отклика, однако, не последовало. Запорожец повторил крик, — то же молчание.

— Хозяин, знать, в отлучности, — сказал он, оборачиваясь к подъехавшим спутникам. — Обойдемся и так: у доброго хозяина все найдется в доме.

— Но как же нам брать без спросу? — заметил Курбский, сходя с коня, меж тем как слуга снимал с седла мальчика.

— Без спросу? — усмехнулся Данило. — На то и дверь настежь оставляется, а на столе стравя: кто заедет, — вари сам себе обед. Та-

ков уж свычай запорожский.

И точно: при входе в низенькую землянку наши спутники нашли на столе пшено и малороссийское сало, а на лавке целый мешок с бураками. Пока Данило разводил на очаге огонь. Гришук сбегал с ведром к колодцу за водой, а потом стал помогать запорожцу готовить полдник. Курбский не мог надивиться той сноровке, с какой хлопчик чистил ножом бураки и месил пшено, точно то было для него совсем привычное дело. А тут он надумал еще поучать запорожца, как варить похлебку, и тот (дело дивное) беспрекословно делал по указанному.

— Тебе и книги в руки, — говорил Данило и, украдкой покосившись на Курбского, прибавил еще шепотом что-то такое, от чего Гришук смущенно рассмеялся и весь зарделся.

Та же мысль, что и накануне, шевельнулась снова в голове у Курбского, но он поспешил ее отогнать.

Полдник был неприхотливым, но голод, как известно, лучший повар: все трое ели с одинаковым аппетитом, а двое младших с меньшим удовольствием пили ключевую

колодезную воду. Не совсем доволен хозяином остался один Данило, зачем тот не озаботился также каким-нибудь более крепким пойлом.

— Ну, да Господь с ним! — сказал он. — У Богдана Карнауха уже наверстаем.

— А кто этот Карнаух? — спросил Курбский. — Приятель твой по Сечи?

— Приятель, точно. Человек обстоятельный: дом — полная чаша.

— Так в Сечи он бывает, значит, только наездом?

— И наездом не бывает. Женатый казак — отрезанный ломоть. Как обзавелся своим хуторком, так и засел как Адам в раю, никаким калачом его оттоль не выманишь.

Недаром Данило назвал жилье своего приятеля раем: когда они часа через два добрались туда, Курбский невольно задержал коня и залюбовался. Живописно раскинувшись на пологом скате балки, хуторок утопал в плодовом саду; сквозь свежую зелень кое-где лишь на солнце ярко белели вымазанные известью стены, а над соломенной крышей чернели деревянные дымари с разными крышками.

— Пугу! Пугу! — раздался снова оклик Данилы.

— Пугу? Пугу? — донесся вопросительно в ответ из глубины сада густой мужской голос.

— Казак с лугу.

Тут у изгороди вынырнула стройная фигура краснощекой, чернобровой дивчины, но, завидев позади Данилы двух молодых спутников его, пугливая красotka крикнула только: «Батяка просят!» и юркнула обратно в гущину сада.

— Галя! Ей же ей, Галя! — удивился Данило и, в знак одобрения, щелкнул языком. — Эх ведь пышно распустилась, что твой цветочек!

— За одно погляденье гривны не жаль, — подхватил Гришук. — Что это — дочка Карнауха?

— Дочка. Аль краса девичья и тебе по сердцу ударила?

— Как не ударить! — весело рассмеялся мальчик. — Очи сокольи, брови соболю!

— Все ведь подметил! Хочешь, сосватаю?

— Сосватай! Посаженным отцом позову.

Между тем Галя подняла уже на ноги весь дом, и встречать гостей вышел сам Карнаух.

Жилось ему в своем «раю» и то, должно быть, очень сытно. Он был еще дороднее Данилы; жирный кадык так и выпирал у него из расстегнутого ворота, а богатырски выпуклая грудь, как можно было разглядеть под распахнутой рубахой, вся обросла черными, как смоль, волосами — такими же, какие вылезали у него из ноздрей и ушей, чернели на жирных пальцах. Эта обильная растительность и медлительная неповоротливость движений придавали ему вид дикаря-увальня, а то и медведя.

Когда Данило назвал ему князя Курбского и объяснил причину их поездки в Запорожье, Карнаух не высказал на своем ленивом лице никакого впечатления, а промолвил с зевком и щурясь от солнца:

— Счастье же ваше.

— А что? — спросил Курбский.

— Что днем одним не опоздали: завтра войсковая рада[1] как раз в сборе.

— Завтра! Да ведь она собирается, кажись, только для выборов к новому году?

— Верно; но ведь без головы Сечи быть полгода тоже не приходится.

— Так батька мой помер?! — вскричал Гришук.

Карнаух не спеша повернул голову на своей толстой шее, чтобы оглядеть мальчика, которого, казалось, еще и не заметил. Испуганный вид хорошенького хлопчика тронул, должно быть, и заплывшее жиром сердце толстяка, и он спросил уже не без некоторого участия:

— А кто твой батька?

— Батька мой — Самойло Кошка.

— Э — э! Помереть он не помер, но впал в некое онемение, а «до булавы треба головы».

— И ведь какой казак-то был! — воскликнул Данило. — Татарки, бывало, именем его ребят своих стращают: «Цыц, вы, чертенята! Самойло Кошка придет, с собой унесет!» Да что же мы тут заболтались? Проси-ка, братику, гостей в светлицу.

— Прошу, — сказал хозяин и сам пошел вперед.

Глава четырнадцатая ХЛОПЧИК ИЛИ ДИВЧИНА?

Хата Богдана Карнауха, как у большинства тогдашних малороссов, была разделена на две половины: одна, предназначенная для жилья самих хозяев, состояла из «пекарни» (кухни) с «комнатой» (спальней), другая — для гостей — из «светлицы», точно так же с «комнатой».

По стенам светлицы тянулись деревянные лавки со спинками, покрытые цветными ковриками. На потолочных брусьях, украшенных узорчатой резьбой, имелись надписи из Священного Писания. Но гордость хозяина составляли, без сомнения, стены: на двух из них были развешаны пиццали, «аркебузы» (немецкие ружья с фитилем), пистолы и «сагайдаки» (татарские луки), сабли, шашки и кинжалы, чешуйчатые кольчуги и шитые золотом конские уборы; по двум другим стенам, на резных дубовых полках, красовалась всевозможная драгоценная посуда, золотая, серебряная и хрустальная.

— И все-то, куда ни глянь, с великой нужей с бою взято! с неподдельным восторгом, не без тайной, пожалуй, зависти говорил Данило, указывая Курбскому на отдельные трофеи своего приятеля, — что у немчуры ливонской отбито, что у шляхты польской, что у погани басурманской... Ну-ка, Богдане, развязывай язык: ты лучше меня упомнишь. Князь Михайло — тоже ратный человек.

Тема и для степенного Карнауха была слишком заманчивая: начал он свои пояснения будто нехотя, выматывая из себя слова, но сам понемногу увлекся боевыми воспоминаниями. Курбский, по званию своему, хотя и был «ратным» человеком, но в настоящей битве ему никогда еще быть не доводилось, и чем далее бывалый вояка повествовал о том, кого он при такой-то оказии пристрелил или изрубил, какой хутор или замок разгромил или дотла сжег, тем тяжелее становилось на душе Курбского, тем более омрачались его светлые черты. Карнаух не мог не заметить происшедшей перемены, но объяснил себе ее иначе.

— А свое оружие, княже, ты забыл все у ка-

менников? — с видимым уже состраданием спросил он.

— Забыл... В Сечи у кого-нибудь, авось, новое раздобуду.

— Почто в Сечи? Сам я в ратное поле навряд еще соберусь; сыновей своих у меня тоже нет: так и быть, бери себе тут, что облюбовалось.

Чтобы не стеснять гостя в выборе, он деликатно отошел к открытому окошку и зычно гаркнул:

— Жинка! Скоро ль там у тебя?

— Скоро, Богдане, дай убраться... — отозвался откуда-то оторопелый женский голос.

— Бери, бери! — говорил меж тем Данило Курбскому, видя его нерешительность. — Всякое даяние благо.

— Не могу я, право, — отвечал ему шепотом Курбский, — сколько одним ведь человеком крови пролито, сколько ближних обездолено!..

— «Ближних!» Еретиков-немцев да ляхов, собак-татарвы да турчан? Да ты сам, Михайло Андреевич, скажи, православный аль нет? Бери говорю! Он тебя, чай не прочь бы и в зятья

взять. Да как бы не так, шалишь!

— Не бери, не бери! — вмешался тут молчавший до сих пор Гришук.

— «Не бери?» — вскинулся хозяин, подошедший к ним опять в это самое время от окошка. — Ты-то, щенок, чего тьявкаешь? Аль нет у меня тут про вас ничего хорошего?

— Все хорошо безмерно! — поспешил Данило предупредить неуместный отказ своего господина. — И мне то за редкость, а ему на диво. Как же нам без оружия в Сечь показаться? Возьмем-ка для тебя, Михайло Андреевич, эту штуку, да вон эту и эту... А себе я возьму эту да эту...

— Губа-то у тебя не дура! — проворчал Карнаух, как бы сожалея о своем порыве великодушия. — Ну, да сказал раз, так пятиться не стану. А теперечки пожалуйста в сад.

В саду под тенистым навесом был накрыт уже стол, на котором вслед за тем появились также многие из драгоценных кубков, глечиков, чаш и чар с полок светлицы. Вокруг навеса сушились на веревках пучки разных весенних трав и кореньев, из которых со временем должны были быть настоены целебные до-

машинные средства, а перед самым навесом была разведена грядка цветов. Солнечный воздух кругом был напоен их благоуханием, к которому примешивался еще вкусный запах жареного лука, тянувшийся из окон пекарни. Шедший отдельно от других Гришук наклонился к грядке, сорвал себе цветок ромашки и с какой-то, словно женской, ухваткой стал обрывать белые лепестки, беззвучно шевеля губами; но уловив тут пристальный взгляд Курбского, весь вспыхнул и бросил цветок.

Курбскому, впрочем, было уже не до мальчика, потому что в это время в калитке показалась хозяйка, а за ней дочка. Обе разрядились для гостей, как говорится, в пух и прах. Карнаухиха свой будний «очипок» (чепчик), свою полинялую плахту и поношеную запаску заменила дорогим головным убором — бобровым «корабликом» с бархатными кистями и парчовым кунтушом с золотыми галунами. Галя же в своей пунцовой «кирсетке», в светло-голубом девичьем кунтуше с широким на груди вырезом для пышной белой сорочки, расшитой золотым шнуром, и в монисте из бурмицких зерен и жемчуга, сама алая,

как маков цвет, и с чинно потупленным взором под черною бровью, — была писанной картинкой, — ну, глаз не отвести!

— Не чинитесь, люди добрые! — пригласила хозяйка, и все разместились вокруг стола.

Обед состоял из нескольких перемен, и каждая запивалась либо брагой, либо медом.

— А не угодно ли пожевать нашего домашнего пряничка? — предложила красавица Галья Курбскому, озаряя его своими звездистыми очами.

— Что пряничек! — сказал отец. — Поднесла бы ты ему нашей домашней настоечки.

Дочка послушно встала и взяла со середины стола большой золотой кубок. Поскрипывая новыми козловыми черевичками, она обошла стол к Курбскому, сперва сама пригубила кубок, а потом с низким поклоном попотчевала гостя.

— Что с тобой, соколику? — участливо спросила Гришука Карнаухова, заметив как тот вдруг изменился в лице. — Аль с дальней дороги притомился?

— Да как не притомиться, — вступился Данило, — ведь всю ноченьку, поди, с коня не

сходил.

Хозяйка захлопоталась и увела мальчика в дом.

— Да и тебе, мосьпане, не соснуть ли? — предложил Курбскому хозяин. — Угоститься, а потом поваляться — разлюбезное дело.

Курбский не отказался: с дороги и с сытного обеда его сильно также клонило ко сну.

Проспал он, видно, довольно долго: когда он, освежив себе лицо водой, поставленной тут же в кувшине, подошел с полотенцем в руках к окошку, тени в саду совсем, оказались, уже передвинуты.

Вдруг руки его с полотенцем невольно опустились, и он прислушался; из глубины сада долетели к нему звуки молодого голоса и сдержанные всхлипы.

— Ну, не плачь же, моя доночко, моя ясочко! У меня есть уже свой на примете, и ни на кого я его не променяю.

Чей это голос? Никак Галины. Но кого она утешает? Так ведь и есть!

Из увитой хмелем беседки вышла на дорожку Галя, ведя за руку Гришука. Курбский быстро отступил назад от окна. Тут в комнату

к нему вошел Данило.

— Встаешь, Михайло Андреевич? Пора, пора! Пожалуй, что засветло и в Сечь уже не поспеем.

Курбский его не слушал.

— Скажи-ка, Данило, — промолвил он задумчиво, — кому на Малой Руси говорят: «моя доночко, моя ясочко?»

— Как кому, княже? Кого обласкать хотят.

— Это-то я знаю. Но дивчине или и хлопцу?

— Вестимо, что... Да кто кому говорил так?

— Говорила так сейчас вот в саду хозяйская дочка Гришуку...

— Не Гришук ли хозяйской дочке? Голос у него такой же тонкий, бабий.

— Нет, нет, Гришук о чем-то горько плакал, а та его утешала.

Запорожец презрительно усмехнулся.

— Да он и есть баба: то и знай хнычет!

— Послушай, Данило, — еще серьезнее заговорил Курбский. — Вспомнилось мне теперь, что Яким тебе на прощанье сказал тебе что-то за великую тайну... Может, клятву с тебя взял?..

— А кабы с тебя клятву взяли, — прервал Данило, — так ты бы сейчас, небось, по всему свету растрезвонил?

— Понятно, нет.

— А коли понятно, так чего ж ты меня пытаешь? Но Яким мне ничего по тайности не сказывал, никакой тайны не брал.

— Так ли, полно? Кому лучше знать, как не тебе, Данило, что женщинам впуск в Сечь строго заказан...

— И что преступившему такой наказ от петли не уйти? Как не знать! Да что мне жизнь моя, что ли, постыла? Чудак ты, право, Михайло Андреевич! Уж не сон ли тебе какой приснился? Настоячка была куда добрая.

— Ничего мне не приснилось...

— А не приснилось, так пойдем вместе к Гришу-ку, — продолжал запорожец тем же насмешливым тоном, — спросим самого: хлопчик он али дивчина?

— Еще что выдумал!

— При всех так и спросим: при хозяевах, при Гале. То то смеху будет!

И он закатился во все горло.

— Перестань дурачиться, Данило! — ска-

зал, не то рассердившись, не то смутившись, Курбский.

— Так и сам дурака не валяй, прости. Соберайся-ка поскорее. Право же, в пути еще заночуем, не поспеем на раду.

Глава пятнадцатая

ЛОЖЬ — НА ТАРАКАНЬИХ НОЖКАХ

Название свое Запорожская Сечь получила по месту своего нахождения: на Низу Днепра — «за порогами».

По пути туда к нашим путникам примыкали все новые небольшие партии запорожцев, живших на вольностях запорожских, вне Сечи, и оповещенных о чрезвычайной раде.

И вот, в последних уже лучах заходящего солнца, замелькал меж деревьев высокий, сажень шесть вышины, земляной вал с бойницами и внушительно выглядывавшими из них «арматами» (пушками), а над валом деревянная башня также с бойницей и арматой. Под самой башней в валу был вход в Сечь — «пролаз» шириною не более аршина.

Приставленный к пролазу старый кара-

ульный казак, по имени Иван Чемодур, знал, оказалось, в лицо всех вновь прибывших членов сечевого «товариства» и приветствовал каждого его прозвищем. Каких-каких прозвищ не услышал тут Курбский! Были тут Кисель и Куроед, Трегубый и Куронос, Лихопой и Быдло.

Когда очередь дошла до самого Курбского, он заявил, что он такой-то и имеет особую грамоту к войску запорожскому.

— Могу сейчас показать, — прибавил он.

— Опося пану Мандрыке покажешь, — отозвался Чемодур. — Нас Господь не умудрил наукой.

— А Мандрыка все еще войсковым писарем состоит? — спросил Данило.

— Кому же и состоять, как не ему? Такого доку поискать! Каждый год выбирают.

— И подначальных строчил этих: писарей да под-писарей, канцеляристов да подканцеляристов, я чай, еще целый полк себе понабрал?

— Хошь и не полк, а отрядец будет. При боку пана судьи для караула и послуг всего на все 10 человек, у пана есаула — 7, у него же

три десятка — без малого, поди, столько ж, сколько у самого кошевого атамана! А этот хлопчик, верно, при твоей особе? — указал караульный Курбскому на Гришука.

— Нет, это сынок самого Самойлы Кошки, — отвечал Курбский. — Нас просили доставить его к родителю...

— Гм, так... Да примет ли его еще родитель? Никого, вишь, до себя не пускает. Потерпи малость: ужо, как меня сменят, так сам вас до пана писаря сведу.

Сумерки на Малой Руси наступают, как известно, тотчас по закате солнца. Когда Чемодур сменил другой караульный, совсем почти стемнело. Но по мерцавшим из окон огням можно было судить об общем расположении куреней вокруг сечевой площади. Кошевой курень, вместе с сечевой церковью, стоял отдельно за каменной оградой во внутреннем «коше»[2].

В этом курене в отличие от остальных была отведена особая большая камера для войсковой канцелярии, куда Чемодур теперь и ввел Курбского с его двумя спутниками.

Войсковая «старшина» (старшее началь-

ство запорожского войска) состояла из четырех лиц: кошевого атамана — главы и официального представителя войска; войскового судьи, ведавшего всеми гражданскими и уголовными делами, войсковым скарбом и «арматою» (артиллерией) и командовавшего в Сечи в отсутствие кошевого; войскового писаря — генерального секретаря и войскового есаула — обер-полицеймейстера войска.

Несмотря на поздний час, канцелярия оказалась все-таки в полном сборе. Начальник ее, пан писарь Мандрыка, невысокого роста, худенький человек, с быстрыми, острыми глазами, заложив руки за спину, ходил взад и вперед между столами и диктовал что-то, — должно быть, какой-нибудь общий по войску приказ; а подначальная ему писарская команда взапуски скрипела перьями. Увидев входящих, он остановился посреди комнаты, на ходу оглядел их вопросительно, не отнимая рук от спины. Когда же тут он узнал от Курбского, что имеет перед собой уполномоченного московского царевича, то, в сознании, видно, своей власти, не подверженной случайностям выборов, с вежливым покло-

ном, но без всякого раболепства, попросил его садиться, а затем тотчас приступил к делу:

— У твоей милости есть и цидула к войску запорожскому.

— Есть универсал за царскою печатью, — отвечал Курбский и, выпоров кинжалом из подкладки своей собольей шапки зашитый там документ, подал его начальнику войско-вой канцелярии.

Тот внимательно перечел документ дважды. Осмотрел печать и промолвил:

— Печать-то царская, но приложивший оную подписался в универсале не царем, а царевичем.

Курбский покраснел за своего царевича.

— Да будь он уже царем, так и не беспокоил бы теперь войска!

— Та-а-ак, — протянул писарь, складывая документ. — Ну. Дай ему Бог. — А то универсал в порядке. О царевиче Димитрие Ивановиче мы уже наслышаны от старосты истерского Михаила Ратомского.

— Но посланец его не был выслушан?

— Нет: о ту пору кошевой атаман наш тяжело занемог. Твоей же милости более посчаст-

ливилось: на завтра назначены новые выборы войскового старшины.

— Но, может статья, их теперь даже и не потребуется.

— Это почему?

— А потому, вишь, — не утерпел тут вмешаться Данило, — что мы вот доставили сюда пану атаману любимого сыночка: как увидит, так, может, опомнится опять, оправится.

Мандрыка оглядел говорящего свысока через плечо и сухо заметил:

— Тебя-то, забубённая голова, отколе принесло?

— А я при князе... Да и сам по себе тоже хотел к вам опять гостем побывать.

— Гость гостю рознь: иного хоть брось, — процедил сквозь зубы пан писарь и перевел глаза на Гришука. — Так ты, стало, родной сын его вельможности пана атамана?

Гришук не выдержал его пронизывающего взора и, смутившись, пролепетал только:

— Родной...

— Знамо, родной! — подтвердил Данило. — Сам я панича на руках качал.

Гришук вскинул удивленный взгляд на за-

рапортовавшегося в своем усердии защитника. Взгляд этот не ускользнул от писаря.

— Ты, значит, и в дядьках у панича состоял? — спросил он.

— В дядьках, само собой...

— И чего ты путаешь, Данило? Для чего все это? — заметил Курбский. — Старика-дядьку его, изволишь видеть, мы дорогой потеряли, — обратился он к писарю и в немногих словах рассказал о первой встрече своей с Гришуком в Самарской пустыни и о том, что после того было.

— Твоей милости я верю, — сказал Мандрыка, на которого, как и на всякого другого, прямодушие молодого князя произвело неотразимое действие. — Но вот этому гусю лапчатому я вот столечко веры не дам!

Данило обиженно ударил себя кулаком в грудь.

— Да что я не запорожец, что ли, чтобы мне вовсе не верить! Не всякое же лыко в строку...

— То-то вот, что ты лыком шит. Ложь — на тараканьих ножках: того гляди, обломаются. А теперь, делать нечего, пойду спрошу пана

атамана: угодно ли ему еще видеть сына.

С этими словами Мандрыка повернулся к выходу. Гришук с умоляющим видом загородил ему дорогу.

— Чего тебе?

— Возьми меня с собой!

— Да, может, батька твой тебя и не признает.

— Признает, признает! Пусти меня к нему только одного...

— Поспеешь.

И пане писарь уже вышел вон.

— Владычица многомилостивая! — прошептал мальчик, у которого из побледневшего лица исчезла последняя кровинка.

Курбский сказал ему несколько одобрительных слов, но он, точно в оцепенении, не сводил глаз с двери.

И вот дверь опять растворилась. Еще с порога начальник канцелярии кликнул одного из своей команды, чтобы сбегал за пушкарем; затем схватил Гришука за ухо, да так больно, что бедняжка запищал.

— Да что он сделал, — спросил Курбский.

— Что сделал? — повторил Мандрыка, от-

талкивая от себя мальчика с такой силой, что тот чуть не свалился с ног. — Назвался, вишь, сыном Самойлы Кошки, а у того вовек и сына-то небывало!

— Он много лет меня не видел, и болезнь ему память отшибла, — продолжал стоять на своем Гришук, взглядывая при этом на Курбского полными слез глазами. — А что он мне родной батька, клянусь вот перед ликом Христа Спасителя и всех Святых! — прибавил он, осеняясь крестом перед освещенными лампадами киотом в переднем углу.

— И я клянусь тоже! — сказал Данило с таким же крестным поклоном.

Теперь у Курбского не осталось уже сомнения, что они оба лгали: Самойло Кошка был, действительно, отцом Гришука, но он-то сам, Гришук, был отцу не сыном, а дочкой! Да как об этом заявить? Сами они молчат, а тут их жизнь на волоске.

Искушенный в житейских лукавствах войсковой писарь со своей стороны не придавал, казалось, торжественной клятве обоих особенной веры.

— По совести ли дали вы вашу клятву, али

нет, — сказал он, — об этом судить не мне: новый старшина разберется с вами. А дотоле, други милые, посидите в войсковой яме... Где ж это пушкарь-то?

— Здесь, пане писарь! — отозвался входящий в это самое время запыхавшийся пушкарь.

— Где это ты, братику, опять застрял? В шинке, верно?

— Виноват, пане...

— То-то «виноват!» Убери-ка вот к себе в пушкарню этих двух молодцов. (Пан писарь указал на Данилу и Гришука). Да смотри: ты головой ответишь, коли они у тебя убегут.

— Не убегут, ваша милость: к пушке прикую.

— Михайло Андреевич! Радетель! Будь нам заступником... — взмолился к Курбскому Данило, когда пушкарь на всякий случай связал ему веревкой руки.

Гришук не промолвил уже ни слова, с безнадежной покорностью протянул также пушкарю свои руки, и, только выходя из дверей, еще раз оглянулся на молодого князя, но так, что у того сердце в груди перевернулось.

— Но их в пушкарне истязать же не станут? — спросил Курбский пана писаря.

— Поколе нет, хоша маленько вреда бы и не было. А как выйдет декрет о законном истязании — так прошу не прогневаться! За ложную клятву по головке у нас не гладят.

— Но к чему их могут осудить?

Мандрыка пожал плечами, и губы его искривились недоброй усмешкой.

— Кому на колу торчать, того не пожалуют двумя столбами с перекладиной! — отвечал он, очень довольный, по-видимому, своим острословием; но тотчас, приняв опять серьезную мину, переменил разговор. — Твоя княжеская милость тоже, я чай, с долгого пути притомился? Для знатных гостей у нас здесь, при кошевом курене, есть особое панское жилье. Пожалуй-ка за мною.

Глава шестнадцатая ПРОГУЛКА ПО СЕЧИ

Проведя «знатного» гостя в «панское» жилище, пан писарь озаботился, чтобы ему подали туда и ужин; после чего пожелал ему доброй ночи и удалился, оставив ему для послуги одного из своих молодиков, Савку Ковалья (молодниками назывались в Сечи молоденькие казаки, записанные, в качестве слугителей, к какому-либо куреню, чтобы приготовиться к казачьему званию).

От разговорчивого молодика Курбский услышал, что поутру до рады будет еще торжественная служба в войсковой церкви.

— Прикажешь разбудить тебя к самой службе? — спросил Коваль.

— Пораньше, пожалуйста, если б я сам не проснулся. Занятно было бы мне перед тем еще и Сечь вашу осмотреть.

— И крамный базар тоже?

— А это что такое?

— Да это, вишь, «крамницы» (лавки) с «крамом» (товаром). У всякого куреня там

своя крамница для собственного обихода.

— А вольных торговых лавок у вас разве нет?

— Как не быть: есть у нас там и приезжие гости (купцы) и жида-шинкари, есть пришлый народ всякого ремесла и мастерства; там же состоят при них и базарные атаманы, и войсковой контаржей, что хранит меры и весы. Больше твоей милости нынче ничего не потребуется?

— Ничего. Спасибо, голубчик. Можешь идти.

Давно ушел молодец, а Курбский все не мог заснуть, все ворочался на постели: неопределенная участь, ожидавшая Данилу и Гришука (или как там его зовут, если он, в самом деле, дивчина), не давала ему покою.

«Поутру первым делом загляну к ним в пушкарню, спрошу напрямик: что можно для них сделать?» На этом решении Курбский наконец заснул.

Проснулся он от того, что кто-то сильно тормошил его за плечо. Он открыл глаза и увидел перед собой Савку Ковалю.

— Твоя милость хотел еще до церковной

службы оглядеться в Сечи и на крамном базаре...

— Да, да! — опомнился разом Курбский, и быстро приподнялся.

Четверть часа спустя, они вместе выходили из дверей.

Во внутреннем коше, как уже упомянуто, находилась, кроме кошевого куреня с пристройками, еще и соборная сечевая церковь. Около колокольни молодой вожатый обратил внимание Курбского на высокий столб с железными кольцами.

— Знаешь ты, княже, что это за столб?

— Это — коновязь, — отвечал Курбский. Молодик рассмеялся, но тотчас сделался тем серьезнее.

— Не коней тут привязывают, а воров и убийц.

— Так это позорный столб!

— Позорный столб, да... Не дай Бог кому стоять у него! — понижая голос, продолжал Коваль. — Привяжут тебя, раба Божьего, прочтут решение при всем товаристве, накормят, напоят: «ешь, пей, не хочу», а там всякий казак подойдет, выпьет тоже чашку горилки, а

либо меду, возьмет кий, да как хватит тебя со всего маху: «Вот тебе, вражий сын, чтобы вперед не крал, не убивал!»

«А что, как и Данилу, и Гришука ожидает то же?» — подумал Курбский, и при одной мысли об этом у него мурашки по спине пробежали.

— Где у вас тут пушкарня? — спросил он.

— А сейчас тут, на сечевой площади.

Они вышли из внутреннего коша на сечевую площадь, которая, особого дня ради, была вся усыпана песком. Курени, числом 38, были расположены на площади широким кругом. Это были огромные избы, совершенно одинакового вида. Позади каждого куреня стояли принадлежавшие к ним скарбницы (амбары для «скарба» казаков), а также небольшие жилища для тех членов куреня, которые прибыли из зимовников только на раду и для которых не оказывалось мест в самом курене. Далее же во все стороны виднелся высокий вал, отовсюду замыкавший Сечь.

— А вот и пушкарня, — указал Коваль на стоявшее в ряду куреней каменное здание с решетчатыми окнами.

Курбский направился прямо к пушкарне. У входа на голой земле преудобно расселся вооруженный запорожец, поджав под себя по-турецки ноги и попыхивая люльку. На приветствие Курбского с добрым утром, запорожец оглядел его представительную особу не без некоторого любопытства снизу вверх, потом сверху вниз, но не тронулся с места, не вынул даже изо рта люльки, а кивнул только головой.

— Ты что же тут, любезный, стережешь, видно? — продолжал Курбский.

— Эге, — был утвердительный ответ.

— Вечор вот сдали сюда двух моих людей. Мне бы их повидать.

— Без пана писаря не токмо я, а и сам пушкарь тебя к ним не впустит.

Этого-то и опасался Курбский. Обратиться к самому Мандрыке значило — возбудить в нем новые подозрения.

— Кликнуть тебе пушкаря, что ль? — нехотя предложил запорожец, которому, видимо, очень уж трудно было расстаться со своим насиженным местом.

— Не нужно, сиди, — сказал Курбский. — А

что, каково им там.

— Спроси волка: каково ему на цепи? Данилка и то, как волк, зубами лязгает.

— А хлопчик?

— Хлопчик крушит себя, слезами залива-
ется, не ест, не пьет.

— Но кормить их все же не забыли?

— Зачем забыть: хлеба и воды нам не
жаль. А дойдет дело до киев, так не так еще
накормим! На весь век насытим! — усмехнул-
ся запорожец.

— Ну, что же, княже, — спросил Коваль, —
пойдем дальше?

— Пойдем, — сказал Курбский, подавляя
вдох: волей-неволей ведь приходилось без-
действовать!

Из открытых окон куреней доносился к
ним оживленный говор обитателей. Проходя
мимо, Курбский заглядывал в окна, а моло-
денький вожатый на словах пояснял то, чего
на ходу нельзя было разглядеть.

Так узнал Курбский, что каждый курень
состоит из двух равных половин: сеней и жи-
лья. Середину сеней занимала «кабыця»
(очаг) длиною до двух сажен. Над кабыцей с

потолочной перекладки висели, на железных цепях, громадные «казаны» (котлы) для варки пицци. Хозяйничавшие здесь кухари были из тех же казаков, но звание их почиталось несколько выше звания простого казака, — отчасти также и потому, что кухарь был в тоже время и куренным казначеем.

В стене между сенями и жильем, для отопления последнего, была устроена большая «груба» (изразцовая печь). Во всю длину жилья тянулся обеденный стол со вкопанными в землю ножками-столбами, окруженный лавками. Над стенами же был настлан накат, приспособленный для спанья ста пятидесяти и более человек. Под накатом было развешено оружие обитателей куреня; а в красном углу теплилась неугасимая лампада.

Тут внимание Курбского было отвлечено шумной перебранкой у ворот в предместье Сечи — крамный базар. Два запорожца отчаянного вида норовили прорваться в ворота: кучка же здоровенных молодцов из базарных людей, вооруженных дубинками, не пропускала буянов, наделяя их кстати и тумачами.

— Что у них там? — заметил Курбский.

— А сиромашня! — вполголоса отвечал Коваль. — Это не дай Бог — самый бесшабашный народ.

— Чернь, значит?

— Вот, вот. Настоящие лыцари никого даром не обижают, разве что во хмелю. А сиромашне нечего терять; ну, и озорничает. Вот послушай-ка, послушай!

— Ах, вы, лапотники проклятые! — орали запорожцы. — Что толкаетесь! Нам только бы погулять, пройтись по базару...

— Нечего вам там прохаживаться, — отвечали базарные молодцы. — Поп в колокол, а вы за ковш.

— Да вам-то что за дело? Может, и товару какого купим.

— Вы-то купите? А где у вас гроши? На брюхе шелк, а в брюхе щелк.

— Что? Что? Ах, вы, лычаки! Пенька-дерюга!

— А вы — кармазины!

— Так вам за честь еще поговорить с нами. Кармазин — сукно красное, панское; стало, мы те же паны. А вашей братии красный цвет и носить-то заказано.

— Не жупан красит пана, а пан жупана. Цвета наши те же, что в мире Божиим: небо — синее, мурава — зеленая, земля — бурая. Кому еще перед кем гордыба-чить. Проваливайте, панове, подобру-поздорову! Некогда нам с вами хороводиться.

— Хоть бы ясновельможного пана постыдились, — прибавил другой молодец указывая на подошедшего Курбского. — Как расскажет еще вашему куренному атаману... Оба запорожца только, кажется, заметили «ясновельможного пана». Как богатырский рост, так и благородная осанка и богатый наряд Курбского несколько охладили их задор.

— А начхать нам на куренного!.. — пробормотал один из них, переглядываясь с товарищем.

— Ужо, после обеда рассчитаемся! — пригрозил тот со своей стороны, и, молодецки заломив набекрень свои затасканные бараньи шапки с полинялым красным колпаком, оба повернули обратно к своему куреню.

— Что, небось, не задалось! — говорили вслед им базарные молодцы. — Хуже нет во рога лютого.

— Но ведь они только в шинок собирались? — заметил Курбский. — Хотя перед обедней оно, точно, негоже...

— А не слышал ты разве, мосьпане, что они грозились после обедни с нами рассчитаться?

— Ну, это только так к слову.

— То то, что нет. Они загодя уже, знать, хотели высмотреть на базаре, где что плохо лежит. Совсем как те оглашенные, про которых поп говорит в церкви: «Ходят вокруг подобно льву рыкающему, ищуще кого пожрати». Как только кончится рада, пойдет у них по всей Сечи пир горой. Ну, а сиромашня эта, разгулявшись, того и гляди, на крамный базар нагрянет, почнет шинки разбивать, а там и дома громить, лавки торговые. Вот мы тут пред радой денно ночью и стережем наше добро. Беда с ними, горе одно!

Тут со стороны внутреннего коша донеслись мерные звуки церковного благовеста.

— Даст Бог, на сей раз пронесет тучу, — сказал Курбский и, кивнув защитникам крамного базара, вместе со своим вожатым повернул назад, чтобы не пропустить церковной

службы.

Глава семнадцатая НА РАДУ!

Из всех куреней посыпались между тем на площадь сотни и тысячи запорожцев в праздничных нарядах и в полном вооружении, чтобы двинуться дружной толпой во внутренний кош, в сечевую церковь. А тут из кошевого куреня показалась и войсковая старшина со знаками своего звания: впереди кошевой атаман со своей булавой, за ним судья с серебряной печатью, за ним писарь с серебряной чернильницей, а за писарем — есаул с малой палицей.

«Боже милостивый! Ужели этот сторбленный старец — сам Самойло Кошка, гроза татарвы и турок?» — подумал Курбский. Но сомнения не могло быть, и он ускоренным шагом подошел к сечевому начальству.

Мандрыка, выдвинувшись из ряда, представил его своим сотоварищам как полномочного посланца московского царевича Димитрия Ивановича.

Но Кошка глянул на него своими ввалившимися тусклыми глазами так безучастно, точно ничего не понял, и, не обмолвившись ни словом, поплелся далее.

Два другие члена старшины, судья Брызгаленко и есаул Воронько, оба — бравые казаки во цвете лет, обошлись с Курбским любезнее, сказав ему привычные приветствия; но обоим им, казалось, было также не по себе: ведь каждого из них предстоящая рада могла сместить вместе с атаманом.

Один только Мандрыка шел с высоко поднятой головой, кивал направо и налево опережавшим их казакам, словно говоря: «Без меня-то, други милые, вы так ли, сяк ли, не обойдетесь!» Курбскому же он оказывал полное внимание и в церкви предложил ему стать рядом с собой на почетном месте за «бокунами», где стояли обычно только члены старшины, между тем как остальное казачество заполнило плотными рядами всю середину храма.

От своего вожатого-молодика Курбский уже слышал, что сечевая церковь именуется собором Покрова Божьей Матери, как покро-

вительницы запорожского войска; что церковную службу правят два иеромонаха: отец Филадельф и отец Никодим, призванные из Киевского Спасо-Преображенского Межигорского монастыря, в котором братия по всей Малой Руси строгим житием славится, и что дьякон, отец Аристарх, что твоя иерихонская труба, так и гремит.

От густых нот голосистого дьякона, действительно, стекла в церковных окнах дребезжали. Подстать дьякону был и хор певчих, которые, как шепотом сообщил Курбскому Мандрыка, обучались также чтению и пению в особой сечевой школе. Все прилагали возможные старания, чтобы новый атаман — на кого бы ни выпал выбор — остался доволен. В задравной ектении провозглашались поименно (быть может, в последний уже раз) четыре члена настоящей сечевой старшины, а зауспокойная ектения совершалась по павшим в бою казакам, имена которых считывал, стоя перед алтарем, дьякон с особой записной дощечки-лопаточки.

При этом взор Курбского остановился на иконописи над царскими вратами: в вышине

был изображен сам Бог Саваоф, а по сторонам Его — два усатые воина в смушковых шапках и с казацкими саблями наголо. На вопрос: кто эти воины, он получил от Мандрыки ответ:

— А небесные воители: по правую сторону от Всевышнего архангел Гавриил, по левую — архистратиг Михаил.

— Но ведь они как будто в казачьих доспехах?

— Да как же им, скажи, лыцарям небесным, и охранять престол Божий, как не в лыцарских доспехах?

В это время отец Филадельф приступил к чтению Евангелия, и все присутствующее товарищество забряцало своими саблями, которые обнажило до половины ножен.

— Это значит, — пояснил опять Мандрыка, — что за слово Божье войско наше всегда готово биться с неверными на жизнь и смерть.

Служба кончилась, и все товарищество рассеялось по куреням, чтобы подкрепиться еще раз до рады, которая могла дотянуться до вечера, а то до другого дня. Курбский был приглашен к столу в кошевой курень. К недоуме-

нию его все куда-то вдруг скрылись, оставив его одного.

— А где же хозяйева? — спросил он Савку Ковалю, подвернувшегося опять к его услугам.

— К обеду переодеваются.

Каково же было удивление Курбского, когда возвратившиеся члены старшины, точно так же как и столовавшие вместе с ними войсковая канцелярия и нижние служители появились в своей затасканной обыденной одежде! Оказалось, что к обеденному столу все войско, даже в высокаторжественные дни, заменяло свое праздничное платье будничным.

Трапеза состояла из нескольких перемен, которые запивались, разумеется, всякими питьями. Тем не менее, настоящего оживления не замечалось: присутствие угрюмого молчаливого атамана замыкало всем уста, и только судья да писарь поддерживали разговор.

Вот были убраны со стола и остатки «заедков»; одна лишь круговая чаша продолжала обходить трапезующих; но старик Кошка по-прежнему сидел сычом не то в раздумье, не то в забытьи.

Мандрыка вопросительно переглянулся с двумя другими членами старшины, затем тронул за плечо атамана и шепнул ему что-то. Тут только бедный Кошка точно очнулся от тяжелого сна и с недоумением обвел всех глазами.

— А? Что ты говоришь? Раду?

— Да, ваша вельможность, не пора ли?

— Пора, верно...

И, встрепенувшись, он крикнул довольно уже громко:

— Ударить на раду!

Сидевший на конце стола довыбш (барбанщик) ожидал только этого приказа: еще перед последним блюдом он успел нарядиться в свое парадное платье и теперь опрометью бросился из дверей.

— Прости за спрос, пане добродию, — отнесся Курбский к Мандрыке, — меня, человека постороннего, не пустят, пожалуй, на раду?

— Гм... на площадь-то нет. Не взыщи. Но коли тебе в охоту поглядеть на нашу раду, то полезай с Савкой на колокольню: оттоле вся сечева площадь как на ладони.

В это время из-за открытых настежь окон в

сечевогой площади забила мелкая дробь литавр.

— Это первый знак к раде, — сказал Курбскому Савка Коваль. — Идем-ка, идем скорее, пока вдругорядь не ударили.

Глава восемнадцатая

КАК ПРОЩАЛСЯ СТАРЫЙ КОШЕВОЙ И КАК ВЫБИРАЛИ НОВОГО

Лучшего кругозора на всю Сечь, как с колокольни, в самом деле, нельзя было и желать. Посреди пустой еще площади стоял пока один только довбыш с литаврами. Но все 38 куреней, как пчелиные ульи, готовые роготиться, шумно жужжали. Тут войсковой хорунжий вынес из церкви большую хоругвь с изображением белосеребряного орла на ярко-алом поле и стал рядом с довбышем. Тот дал литаврами второй знак — и из всех куреней живым потоком хлынули к родной хоругви толпы запорожцев, успевших снова заменить свою простую затрапезную одежду праздничною. В третий раз зазвучали литав-

ры — и из внутреннего коша показалось процессией сечевое начальство: четыре члена старшины и 38 куренных атаманов — все со своими «клейнотами» (атрибутами своей власти) и с непокрытыми головами. Куренные атаманы стали во главе своих куреней, выстроившихся кругом чинными рядами; старшина же, остановившись у хоругви, отвесила товариществу глубокие поклоны на все четыре стороны. Товариство, в свою очередь, отдало старшине такие же низкие поклоны.

Между тем с церковной паперти спустился, в полном также облачении, церковный причт, чтобы Божьим словом освятить начало рады.

После краткого молебствия духовенство удалилось, и около хоругви перед паном писарем появился стол с грудой книг.

— Это, вишь, книги приходная да расходная войсковому скарбу и росписи куренные, — объяснил Курбскому Коваль, — на случай, что новой старшине угодно было бы проверить войсковое добро.

— Тише, милый! Дай послушать, — прервал его Курбский, потому что старик-коше-

вой, Самойло Кошка выступил вперед.

Сложив на стол свою шапку и булаву, он снова поклонился на все стороны и начал говорить. Так как звуки снизу вверх доносятся всегда особенно явственно, и ветер дул с площади, то к Курбскому на колокольню долетало почти каждое слово.

— Вы, паны батьки, вы, паны атаманы, и вы, паны молодцы, низовые мои детки! — говорил Кошка, собравшись, видно с силами, чтобы в последний то хоть раз выполнить, как подобало, свою обязанность главы Сечи. — Чем сильно наше славное Низовое товарищество? Сильно оно общей всем нам верой православной; сильно еще стародавними свычаями и обычаями казацкими; сильнее же всего тем, что ни у единого из нас нет ни жинки, ни деток, ни имущества, кромеа доброго коня да доспехов воинских, ибо сечевые товарищи для нас та же семья: и батьки, и братья, и детки. Нет в целом мире Божьем ничего крепче нашего товарищества: всякий из нас, лыцарей-запорожцев, не задумавшись, прольет свою кровь, ляжет костьми за товарищей, за родную Сечь Запорожскую, лишь

бы она, кормилица-матушка, не запропала, не сгинула. Но горе Сечи, буде голова ее, старшина, без головы! А ноне горе это близко... Паны батьки, атаманы, братчики мои милые, любезные! Не пановать мне уж над вами... Выбирайте себе нового кошевого.

Неожиданно складная речь выжившего, как думалось всем, из ума старца произвела некоторое впечатление; в ответ раздалось несколько сочувственных откликов:

— Оставайся, пане атамане! Пануй еще над нами! Но голоса немногих его сторонников были заглушены целым хором недовольных:

— Ступай себе, старче! Довольно ты дарма казацкий хлеб ел! Ступай с Богом!

Отставленный кошевой поклонился по-прежнему на все стороны и пробормотал установленную формулу благодарности за оказанную ему доселе честь; но когда он затем с понурой головой вышел из вечевоего круга, силы разом его оставили, и, не подхвати старца два казака под руки, он, пожалуй, грохнулся бы наземь.

Теперь остальные члены войсковой старшины: судья, писарь и есаул, по примеру ко-

шевого, сложили на стол, вместе с шапками, знаки своего достоинства: войсковую печать, чернильницу и малую палицу; но вся площадь крикнула единодушно, как один человек:

— Оставайтесь, панове, оставайтесь! Вы нам любы!

Все трое с поклонами поблагодарили славное товариство за доверие и приняли опять со стола свои знаки, а судья Брызгаленко, как временно заступивший начальника Запорожской Сечи, возвысил голос:

— Паны молодцы, кого же вы теперь волите в кошевые атаманы?

Точно ураган налетел на подвижную поверхность сечевого моря. Из тысячи уст вырвался разом, подобно морскому прибою, неистовый рев, из которого, как брызги пены, взлетали к небу отдельные, еще более зычные возгласы:

— Крамаренка волим в кошевые, Крамаренка!

— Лепеху волим!

— К дьяволу Лепеху! Пискуна, братчики, выбирайте, Пискуна!

— К ведьмам Пискуна! Не пищать кошевому, а реветь, рычать! Давай нам Реву!

— Реву! Реву!

— Провалитесь вы с вашим Ревой! Головню, Панове! Вот атаман, так атаман!

— Головню! Головню!

— Головню ему в рот! Лепеху, паны молодцы, Лепеху!

— Лепеху! Лепеху! Лепеху! — подхватил тут и вожатый Курбского с колокольни, да так громко, что у Курбского барабанная перепонка в ухе чуть не лопнула, и он зажал себе ладонью ухо.

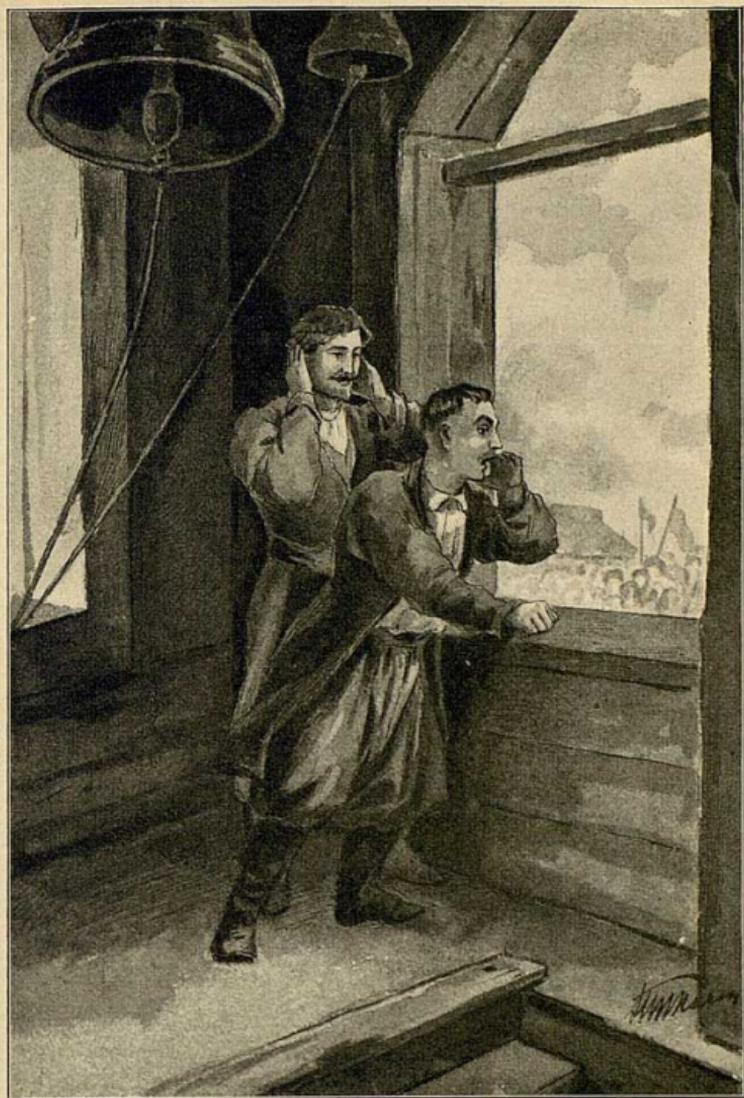
— Ну, и голосище же у тебя! Лепеха — твой куренной атаман, что ли?

— Знамо, не чужой, — ответил Коваль. — Всяк кулик свое болото хвалит.

— Но ведь ты — молодик: выбирать тебе еще не положено?

— Не положено, точно... Да ведь я и не стою там, на площади, а кричать отселева кто мне закажет? Лепеху, панове, Лепеху!

Но одинокий крик голосистого молодика с вышины вниз затерялся в общем гомоне целой площади.



— Лепёху! Лепёху! Лепёху! подхватилъ тутъ и вожатый Курбскаго, да такъ громко, что Курбскій зажалъ себѣ ладонью ухо.

Там страсти все пуще разгорались; наиболее отчаянными горлодерами была «сиромашня», успевшая еще за обед чрез меру воодушевиться горилкой и брагой. Во славу изблюбленных кандидатов на нескольких пунктах пошли в ход уже кулаки. Начальнику сечевой полиции, есаулу Вороньку, стоило немалых усилий при помощи состоявших при нем дюжих казаков угомонить самых ярых буянов. Той порой судья и писарь выкрикивали во всеуслышание тех кандидатов, имена которых повторялись кругом чаще других.

— Эй, пане Рева! Пане Головня! Пане Лепеха! Ходите до дому!

Названные не без труда протолкались сквозь сплошную стену избирателей «до дому», то есть в свои курени.

— Для чего это? — спросил Курбский всезнайку Ковалю.

— А для того, значит, — был ответ, — чтобы и сумленья не было, что не сами они за себя других подбивают. А Лепеха-то мой, смотри, еще выскочит в кошевые! Лепеху! Лепеху!

Вопрос, однако, оставался пока далеко не

решенным. Толпа внизу продолжала волноваться. Большая часть куреней, по-видимому, примирилась с мыслью, что их собственный атаман не может ожидать успеха, и примыкала к тому или другому куреню, чтобы провести его кандидата. Так образовалось несколько враждебных между собой кучек, которые ожесточенно спорили, осыпали друг друга всевозможной бранью и временами вступали в рукопашную.

— Как бы не дошло до смертоубийства... — пробормотал про себя Коваль.

— Так и это бывает? — спросил Курбский.

— Да еще на прошлых выборах одному все ребра переломали — Богу душу отдал, а с десятков искалечили. Нынче, может, и так обойдется. Вон верхние куреня от нижних отделились: стало, дело идет на лад: только двое на примете.

В самом деле, из общего гула голосов доносились всего два имени: Ревы и Лепехи.

— Ага! Все верхние курени за моего Лепеху!

Но ликование Коваля было преждевременным; дело приняло совершенно новый обо-

рот.

Глава девятнадцатая

СЕЧЕВЫЕ БАТЬКИ МОЛВЯТ СВОЕ СЛОВО

Кроме простых казаков верхних и нижних куреней, разделившихся на два враждебных стана, на раде присутствовали и «сечевые батъки». То были все сивоусые казаки, которые однажды состояли также в войсковых должностях и пользовались потому у товарищества особенным почетом. Пока молодежь старалась убедить друг друга и языком и кулаком, «батъки» не принимали в шумной сваре никакого участия, а, стоя тесной кучкой с опущенными долу головами, тихонько только меж собой о чем-то совещались. Тут из среды их выступил вперед сановитый старец с необъятным пузом и с белыми усами.

— Паны-молодцы! — гаркнул на всю площадь судья Брызгаленко. — Батъки наши, славные низовые лыцари, хотят тоже слово молвить! Уважение к «сечевым батъкам» было, как видно, очень велико: тысячеголосый

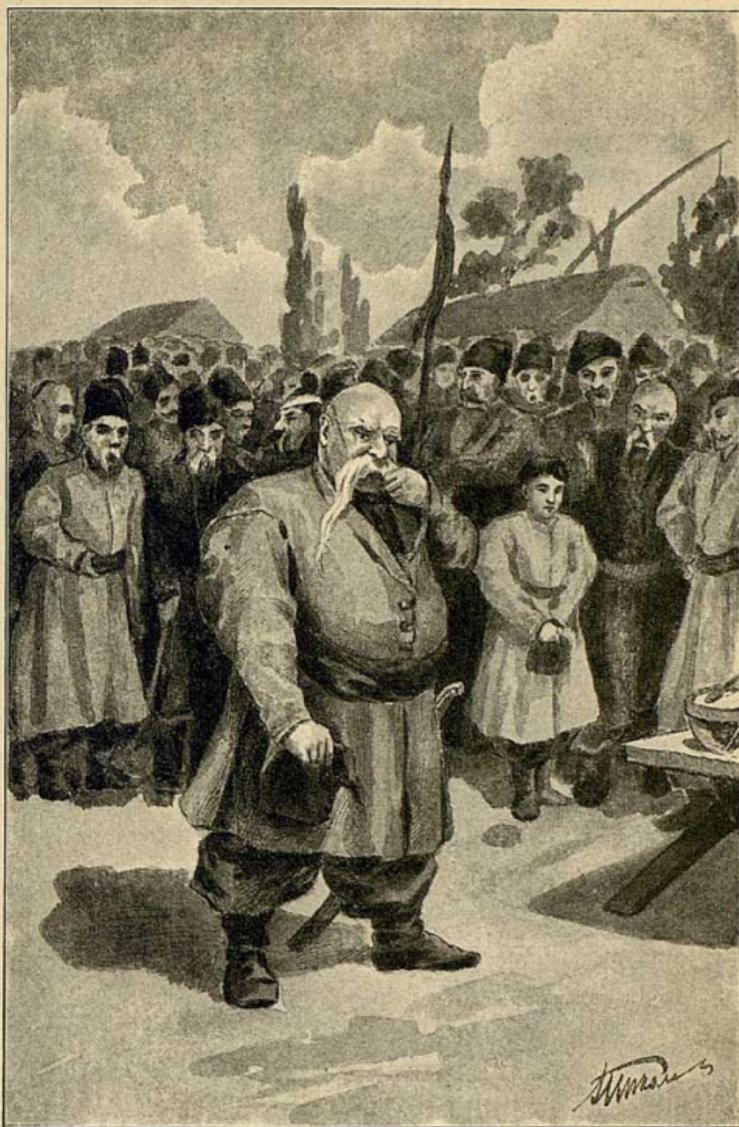
гомон кругом разом стих, и несколько голов выразило общее одобрение:

— Послушаем, братове, батьку Товстопуза! Говори, старче, говори!

Товстопуз расправил рукой свои могучие усища, окинул окружающих орлиным взором и начал:

— Гай-гай вы, детки мои любые! Сменили вы нашего старого кошевого, Самойлу Кошку, а за что, про что? Не он ли ходил с вами походом в инфляндскую землю против свейского короля, голодал-холодал там вместе с вами? Не он ли водил вас на турецкого султана, на крымского хана, учил вас бить нехристей во славу веры христианской? Не он ли радел всегда о вас, как о родных детках, чтобы каждому досталось в волю и воинской славы и всякого добра? Такого кошевого атамана у нас николи еще не было, да вовек и не будет. Это первый меж нас запорожец! И не жаль вам, детки, у первого запорожца отобрать булаву раньше даже новогоднего срока, словно он в чем перед товариством провинился.

— Жаль-то жаль... как не жалеть!.. — слышалось с разных сторон. — Да коли ему



Товстопузъ расправилъ рукой свои могучіе усища, окинулъ
окужающихъ орлинымъ взоромъ и началъ:
— Гай-гай вы, дѣтки мои любя!..

править Сечью невмочь?

— Так обождали бы хоть до Нового года, как испокон веку заведено на Сечи Запорожской. А то ведь это, по совести сказать, и стыд, и срам! Да точно ли он так уж плох? Чай, сами слышали, как умно и складно он давеча речь держал? Многие ль из вас смогли бы говорить так? Правда ведь, паны-молодцы?

— Правда, батьку, святая правда!

— А затеется новый поход, так он, увидите каким еще львом воспрянет! Поход же у нас на носу...

— Куда поход, батьку? Уж не на Москву ль, как слух прошел?

— Коли дошло до вас, так не стану уже попусту таить: да, на Москву Белокаменную! А кто поведет вас туда лучше Самойлы Кошки? За ним как за каменной горой, а за другим — одному Богу еще ведомо. Так время ль ноне, сами посудите, выбирать нам нового кошевого атамана? Мы, сечевые батьки, голосуем все за преславного Самойлу Кошку. Решайте же и вы, детки, вольным голосованием: угоден вам еще Кошка, али нет?

— Угоден! Угоден! Пускай до времени оста-

ется! Оставимте, братове, Кошку! — загремело, загудело кругом, и если были, быть может, несогласные, то голоса их затерялись в этом общем громе и гуле, как крик одинокой чайки в бушевании расходившегося моря.

— Привести сюда его ясновельможность Самойлу Кошку! — приказал Товстопуз.

Несколько казаков бросилось исполнить приказ. Было это не так-то просто: будучи отставлен от должности начальника Сечи, Кошка не вернулся уже во внутренний кош, а удалился в свой первоначальный курень; и вот, когда посланные за ним вытащили его оттуда, старик, что было у него еще сил, упирался и руками, и ногами, словно его вели на плаху, а не булаву свою принимать. Дюжие молодцы, разумеется, справились со слабосильным старцем. Когда тут Товстопуз объявил ему нерушимую волю войсковой рады, чтобы он продолжал пановать над сечевыми товарищами до Нового года, Кошка беспрекословно подчинился такому решению, принял обратно булаву и с земным поклоном на все стороны поблагодарил славное товариство за доверие. Приведшие же его на раду казаки подня-

ли его на руки, а все товариство единодушно огласило воздух восторженными кликами:

— Пануй еще над нами, ясновельможный пане! Дай тебе, Боже, лебединый век и журавлиный крик!

— И все? — спросил Курбский своего вожаго. — Конец раде.

— Конец, — ответил Коваль. — Только вот еще подписать старшине грамоту, что изготовляет пан писарь[3].

— Стало быть, теперь нам и на площадь можно?

— Тебе-то, княже, можно, а я лучше погужу.

Сойдя вниз с колокольни, Курбский, сквозь раздавшуюся перед ним толпу, беспрепятственно добрался до середины площади. Но что бы это значило? Рада будто еще не кончилась? Восстановленный в должности кошевого, Самойло Кошка стоит еще там же, у хоругви; стоят около него и судья, и писарь; не расходится и все товариство. Все глядят в одну сторону — в сторону пушкарни, словно ждут оттуда кого-то.

Глава двадцатая

СУД ПРАВЫЙ И СКОРЫЙ

«Гришука и Данилу судить будут!» — поднял вдруг Курбский, и сердце в нем захолонуло.

И точно: вот идет пан есаул, а за ним, под конвоем пушкаря и двух простых казаков, оба заключенника. Данило выступает смело, оглядывает вызывающе своих товарищей судей, как бы говоря:

«Ну, что же, и судите! Пощады просить не стану».

На мальчике же лица нет; он глубоко-глубоко опустил голову и рад бы, кажется, сквозь землю провалиться.

— Подойди-ка сюда, хлопче, подойди! — подозвал его старик-кошевой скорбно жестким тоном. — Чего очи в землю утопил? Смотри прямо в очи, коли говорят с тобой, ну!

Гришук поднял взор. Сколько трогательной стыдливости, сколько горького чувства было в этом увлажненном, умоляющем взоре! И окаменевшее сердце Самойлы Кошки дрог-

нуло; как бы чураясь от злого наваждения, он замахал на Гришука руками:

— Господи, помилуй! Катруся! Аль из могилы встала?

Мальчик не тронулся с места и прошептал побелевшими губами.

— Нет, батечку, мама лежит в могиле и николи уже не встанет. Но я на нее, сказывают, с лица очень схожа, как была она дивчиной.

— Так ты... ты — дочка моя, Груша?

Старик простер к ней руки и зашатался. Дочка рванулась к отцу навстречу и подхватила его в объятия.

— Таточку, батечку любый, милый! Узнал меня, узнал!

Она прижалась к нему, припала на грудь его головкой, как птенчик под крыло наседки; а он, в порыве внезапно пробудившегося родительского чувства, гладил ее по щекам, по волосам, говорил непривычным расслаблено нежным голосом:

— Голубонько ты моя! Дитятко риднесенько!

Ни отец, ни дочь не замечали, что небывалое на Запорожской Сечи зрелище — появле-

ние на войсковой раде молоденькой дивчины, да еще переряженной в хлопца — переполошило все присутствующее войско. Кругом пробежал угрожающий ропот, а сечевые батки сбились снова чупрынями в кучу. Тут представитель их, Товстопуз, махнул шапкой в знак того, что хочет опять говорить.

— Угодно вам, детки, еще стариков послушать?

— Угодно, угодно! Говори, батько! — пронеслось со всех сторон.

— На Сечи семейных казаков нема; таков закон стародавний, а кошевой атаман всей Сечи пример. И у пана Самойлы Кошки досель ни жинки, ни деток якобы нема, и был он у нас старшим, был бы им и впредь. Но те-перя-то, как признал он сейчас при всей раде свою дытыну, можно ль ему быть старшим, оставаться жить на Сечи?

— Не можно, никак не можно!

Товстопуз обернулся к отставленному кошевому:

— Слышишь ли, пане, решение рады?

Кошка на этот раз и губ не раскрыл. Он взял только за руку Грушу, чтобы удалиться

вместе с ней. Но тут вмешался судья Брызгаленко:

— Ты-то, дивчина, годи! С тобою счета еще не покончены. Но допрежь того нужно нам нового кошевого. Так что же, паны молодцы! Кого вы заместо пана Кошки кошевым поставите: Лепеху или Реву?

— Реву, Реву, Реву! — загремело кругом, и имя Лепехи было в конец заглушено.

— Стало, Реву? Быть же Семену Реве до Нового года кошевым атаманом! — провозгласил Товстопуз. — Нут-ка, детки приведите-ка сюда нашего нового пана принять булаву.

Казалось, будто Реве до крайности не хотелось принять войсковую булаву: вытасченный «детками» из своего куреня, он всеми силами от них отбивался.

— Иди, вражий сын, пановать над нами! Ты нам пан и батька! — орали «детки», продолжая тянуть его за руки, тузить кулаками во что ни попало: в бока, в спину, в шею.

— Помилуйте, паны молодцы! Где уж мне пановать над вами! — возражал Рева, задыхаясь от их не в меру усердных тумачков и подзатыльников.

— Нечего, братику, нечего! Ровно как бык ведь перед убоем упираешься! — сказал Товстопуз, когда нового кошевого приволокли наконец на место. — Вот тебе войсковая булава.

— Благодарствуйте, панове! Дай вам Бог здоровья! Но у меня о том николи и думано не было...

— Ну, ну, не отлынивай!

— Да право же, панове, сия булава не про меня... И он рванулся назад, как бы собираясь улизнуть.

Но несколько дюжих кулаков толкнули его опять вперед:

— Куда, куда! Бери, коли дают!

Рева, как требовал того обычай, вторично еще отказался и уже на третий раз принял булаву.

— Честь новому кошевому атаману! — приказал судья довбышу, и победоносная дробь литавр возвестила запорожскому войску об окончательном выборе нового начальника.

Чтобы тот, однако, не слишком зазнавался и всегда памятовал, что он в сущности такой

же простой казак, как и избиратели, званием же своим обязан только товарищам — сечевые батьки совершили над ним еще последний обряд: Товстопуз, а за ним и остальные старики сгребли с земли по горсте песку и насыпали ему на его обнаженную голову. После этого уже Рева, как давеча Кошка, поблагодарил товарищество и был приветствован тем же криком.

Теперь только Курбский имел возможность хорошенько разглядеть избранника войска. Если между всеми окружающими воинственными лицами едва ли можно было найти одно без рубца и шрама, то рожа Ревы представляла своего рода крошево: все оно было исполосовано вдоль и поперек, а левое ухо вовсе отрублено. Что громкое прозвище свое Рева заслужил также недаром Курбский узнал вслед за тем. Войсковой судья с поклоном доложил новому кошевому, что тем часом-де, что он, пан атаман, сидел в своем курене, набежало судебное дело: в образе хлопца пробралась в Сечь вот эта дивчина, дочка Самойлы Кошки.

Ударив в землю вновь пожалованной ему

булавой, Рева зарычал, заревел подлинно польвиному:

— Ах, негодница! Задави тебя козел! Чтоб тебя земля не носила! Закопать ее в землю, панове, — и вся недолга!

— Закопать! — подхватила сиромашня из задних рядов.

У стоявших ближе и видевших беспредельный ужас, отпечатлевшийся на миловидном личике дивчины, не достало духу поддержать бесчеловечное предложение нового кошевого. А тут и сам Самойло Кошка пробудился от своей душевной летаргии.

— Побойтесь Бога, детки! — воззвал он к товариству. — За что вы карать-то хотите несмышленную девоньку? За любовь ее детскую? Да сами-то вы нешто не были тоже раз детьми, не любили ваших родителей? И добралась ли бы она одна, маловозрастная, в Сечь, сами посудите, кабы ей заведомо другие не пособляли, вопреки строгому наказу? Коли кого уж карать, так тех пособников!

— А ведь правду говорит он! — согласился Товстопуз, а за ним и прочие сечевые батьки. — Коли карать, так пособников!

— А кто пособники-то? — спросил Рева. — Кто были твои попутчики, дивчина?

— Попутчики мои тут, право, не причем... — пролепетала Груша, не смея поднять глаз на своих попутчиков.

— Твоего ума-разума нам не нужно! — обрвал ее новый кошейвой. — Говори толком, как ты сюда попала?

Прерывающимся голосом, но трогательно просто принялась повествовать Груша, как она, узнав о болезни своего батеньки, собралась в путь со стариком Якимом.

— Так подать сюда того Якима! — рявкнул Рева.

— Его нет тут, ясновельможный пане: он остался у каменников, под Ненасытцем, — отвечала девочка и стала было рассказывать далее, но атаман нетерпеливо снова перебил ее:

— Стой! Сюда-то, в Сечь, кто тебя доставил?

— Я, — отвечал, выступая вперед, Курбский.

— И я! — подхватил его верный слуга, Данило. — Господин мой — не чета иным прочим: он — благородного корени отрасль, высокородный князь вельможный...

— Молчать, пока тебя не спросят! — так же властно прервал поток его речи Рева. — У нас на Сечи нет князей, все одинаково благородного корени, а вельможны только по выбору товариства.

Затем несколько менее сурово обратился к Курбскому:

— Коли ты, добродию, сам говоришь, что доставил сию дивчину в Сечь, так чем ты можешь себя в том оправить?

Курбский повторил дословно то же, что сообщил накануне Мандрыке, как игумен Самарской пустыни, отец Серапион, упросил его, Курбского, взять с собой в Сечь сыночка Самойлы Кошки.

— И твоей милости и посейчас невдомек было, что то не хлопчик, а дивчина?

Напрасно побрякивал Данило и делал таинственные знаки своему господину. Курбский не умел лукавить и заявил без утайки, что у него по пути и то, мол, возникло сумлительство, да все как-то верить не хотелось...

— И, сумлеваясь, ты все ж таки не убоялся везти ее в Сечь? — воскликнул Рева и развел руками. — Дивлюсь твоей смелости, и жаль

мне твоей молодой жизни... Ну, да и то сказать: промеж жизни и смерти и блошка не проскочит.

— Да князь Михайло Андреевич сам себя топил, хошь и неповиннее младенца! — вмешался тут Данило. — Завел он еще вчерась разговор со мной, стал выведывать меня про малого нашего попутчика, а я ему в ответ, что ничегошеньки не знаю.

— А взаправду-то знал?

— Да откуда мне знать-то?

— Хоша хлопца сызмальства на руках качал? — не без ехидства вставил от себя пан писарь.

Уличенный во лжи, Данило прикусил язык.

— И лих же ты брехать, окаянный пес! — загрохотал на него Рева. — Признавайся уж начистоту, пустых речей не умножай.

С тяжелым вздохом Данило почесал в затылке.

— Недуж я врать-то. Был грех, что уж говорить! Солучилось оно второпях неопамятно. А все тот треклятый змей-искуситель.

— Какой змей-искуситель?

— Да вот сейчас доложу вам, паны братчики, по истине, как есть, необлыжно.

И доложил он необлыжно, как змей-искуситель, то есть дядька Яким, сдавая ему, Даниле, с рук на руки дочку атаманову, взял с него, чертов кум, клятву смертную никому не сказывать, что она — дивчина, а не хлопец.

— Не возмог я отказать: пожалел милой девоньки! — заключил он свой доклад. — А на поверку дурак вышел.

— И дурак, и товариству изменник! — заревел Рева, давая опять волю своему гневу. — Гей вы, паны-молодцы! Сей казак, прежний товарищ наш, Данило, по прозванью Дударь, зашибаясь хмелем, творил на веку своем немало прочего тому подобного, стыд приносящего; а ныне пренебрег и стародавними заветами запорожскими, заведомо завез к нам дивчину, Сечь родную опозорил. Заслужил он смерть, аль нет:

— Заслужил! Заслужил! — заголосила единодушно вся площадь от одного конца до другого.

— А сей пан вельможный, именующий себя князем Курбским?

— Тоже заслужил, тоже! Смерть обоим! — заорала беспардонная сиромашня, для которой двойная казнь была и двойным праздником.

— Что, небось, примолк? — с усмешкой отнесся к Даниле довбыш, которому хотелось, видно, раз-то хоть, помимо литавр, подать свой собственный голос.

— Казак не литавры, — отозвался Данило. — Когда его за дело бьют, он молчит.

— Да литавры мои всяк хвалит!

— Литавры-то когда и хвалят, и казака хвалят, а про дурацкие палки твои, как про тебя самого, никто и словечка не проронит.

Глава двадцать первая

ГАЙДА НА МОСКВУ!

А что же сама Груша, из-за которой весь сыр-бор загорелся? Затаив дух, с расширенными от страха глазами, стояла она неподвижно, как каменное изваяние, возле старика-отца. Произнесенный теперь над обоими ее покровителями — молодым и старым — смертный приговор пробудил ее наконец из оцепенения.

— Да чем же они оба виноваты, панове? Помилосердствуйте! — взмолилась она. — Данило сдержал только свою клятву, а уж князю Михайле Андреевичу и доведаться не от кого было, что я не хлопец.

— Да не сам ли он сейчас тут признавался, что у него была догадка? — заметил судья Брызгаленко.

— Догадка, да, но почему? Потому, что я, видно не умеючи притворялась. Но верного он все же таки ничего не знал про меня. Так он за меня и не ответчик. Вспомните Суд Божий, панове, не погубите душ ваших! А коли

беспременно нужно вам кого казнить лютой смертью, так казните меня самое, заройте в землю... Прогневала я, знать, Господа Бога! Да будет надо мной Его святая воля...

Безграничное отчаянье придало голосу девочки такую звучность и силу, что во всей многотысячной толпе не нашлось бы, вероятно, человека, который бы ее не слышал. А каким огненным румянцем пылало невинное личико, какие молнии сверкали из ее пугливых глаз, какая прелесть была в ее покорности неумолимой судьбе! И мольба ее не осталась без действия на черствые души закаленных в бою запорожцев. Вместо насмешек или угроз, кругом послышались возгласы:

— Ну, вже дивка! Очи-то, очи — что твои звездочки!

— Слетыш ведь, а поди-ка, дивка гарная, рассудли-вая, да и сердцем жалостливая!

— Одно слово — сестра наша казачка, не теремная затворница!

Курбский поспешил воспользоваться таким благоприятным оборотом в настроении рады, чтобы провести то дело, для которого он прибыл в Сечь. Приподняв на голове свою

соболью шапку, он с достоинством поклонился окружающим и заговорил так:

— Славное товариство запорожское! Не зная за собой прямой вины, о себе тратить слов уже не стану. Но доколе голова у меня еще на плечах, я должен доложить товариству, от кого и зачем я сюда прислан. Кто не слышал про царя московскою Бориса Годунова? Но не всякому ведомо, каким порядком он воссел на престол царей московских. По кончине царя Ивана Васильевича, прозванного Грозным, остались два сына: Федор и младенец Димитрий. Еще на смертном одре Грозный царь объявил старшего царевича наследником престола. Но как царевич тот был слаб и телом, и духом, то советниками к нему и блюстителями державы было приставлено несколько бояр. Из них-то первую силу забрал шурин царский, Борис Годунов. Но мало было ему править царством; похотелось самому зваться царем. Царь Федор и так ведь тяготился бременем забот царских, да по недужности ему не могло быть и долгого веку. Но откажись он от царского сана, законным царем стал бы меньшей брат его Димитрий. Как

же быть с этим? Еще младенцем Димитрий был удален из Москвы в город Углич. И что же? Когда ему пошел восьмой год, он среди бела дня был зарезан! Народ схватил убийц, самих их умертвил. Но, умирая, убийцы назвали того, кто подослал их: правителя царства, Бориса Годунова! Недолго тут пришлось ждать Годунову: царь Федор от недугов своих скончался, а супруга его, царица Ирина, на девятый же день постриглась в монашеский чин. И выбран был на царство якобы волею народною правитель Борис Годунов. Да не на радость себе завладел он престолом!

За смертный грех его ниспослал Господь на землю русскую глад и мор, и возроптал народ на душегубца. О, кабы погубленный им царственный младенец чудом восстал из гроба!.. И чудо совершилось — он восстал! Не царевича Димитрия зарезали тогда в сумятице злодеи, а безвинного же товарища его детских игр, поповского сына, схожего не него станом и лицом. Царевича же тихомолком увез из города приставленный к нему немец-лекарь; увез окольными путями далеко — до Студеного моря, до Соловецкой обители. Свя-

тые отцы там бездомного приветили. Но не схимником же было кончить век свой царскому сыну, когда прародительский престол его захватил узурпатор? И вот, погода тринадцать лет, пока сам не стал мужем ратным, царевич мой выступил на свет Божий, чтобы потягаться с Годуновым. Король польский Сигизмунд принял его в своей резиденции, как царственного гостя, мало того — разрешил сендомирскому воеводе Юрию Мнишку набрать для царевича целую рать вольных рыцарей и жолнеров польских. И ждут они теперь, чтобы двинуться на Москву противу Годунова. Но кто сам себя стережет, того и Бог бережет. Дабы успеху его не было никакой порухи, велел он мне еще ехать на Днепр, бить челом от имени его доблестному войску запорожскому: помогите ему, панове, в его святом деле! Помогите и ради дела, и ради его самого: ведь царевич Димитрий Иванович вам не чужой человек: без малого два года прожил он здесь меж вами для вящего усовершенствования в воинских приемах; как свой брат ел вашу хлеб-соль, пировал и горевал вместе с вами...

Сочувствие товариства запорожского к царевичу московскому обнаружилось уже в том неослабном внимании, с каким слушалось довольно длинная речь его посланца. Теперь же вся площадь разом всколыхнулась, отовсюду раздались оживленные восклицания:

— О? Оттак? Да почто же он никому не сказался? А приписан был он к какому куреню, да под каким именем-прозвищем?

Один лишь из всего товариства, войсковой писарь Мандрыка, сохранил свой насмешливо-строгий вид, как будто ему все давным-давно уже известно, и заметил:

— Почто он не сказывался вам, панове? Скажись он до времени, так испортил бы себе все дело. А какое у него было на Сечи имя и прозвище, вы и сами, Панове, припомните коли сказать вам его приметы: птичка невеличка, да ноготок остер; из лица смугл, не больно казист, но прыток, ловок на диво: в рукопашной хошь кого поборет, на любого коня набегу вскочит, мигом укротит. Особая же примета: бородавка на челе, другая под правым глазом...

— Дмитрий Иванов! Москаль! — догада-

лись тут бывшие товарищи удальца-москаля. — Ова! Так он, стало, царского рода?

— Да, родной сын и единый наследник приснопамятного царя московского Ивана Васильевича, — отвечал Курбский. — Коли уже вы, паны-рыцари, его не забыли, так мог ли он забыть вас, своих кормильцев-поильцев, наставников в ратной науке? А дабы ваше славное оружие здесь не поржавело, он зовет вас теперь с собой на ратные подвиги — на Москву.

Как от искры, брошенной в пороховой склад, от заманчивого призыва вспыхнули в воинственных сынах Запорожья боевые инстинкты. На воздух полетели шапки, и из тысячи уст грянул восторженный крик:

— На Москву! На Москву!

Писарь Мандрыка стал нашептывать что-то новому кошевому; но тот отмахнулся рукой:

— Это, братику, не по моей чисти: у меня язык суконный. Доложи уж сам.

И Мандрыка, выждав, пока шумное возбуждение товариства несколько улеглось, возвысил голос:

— Итак, войсковой раде угодно принять решение: идти с царевичем Димитрием походом на Москву:

— Угодно, угодно! Гайда на Москву! — был единодушный отклик рады.

— Одному ли конному войску идти, али и пешему, и кому из пеших идти, кому оставаться охраной на Сечи, либо в водяном карауле на лодках — о сем будет речь еще впереди по куреням. Ноне же о решении рады должно быть отписано безмешкотно самому царевичу. Но кто отвезет ему сию отписку? Привет от Царевича доставил нам князь Михайло Курбский; ему подобало бы вручить и ответ рады. Но сделать сие весьма невозможно, понеже раде угодно было давеча постановить смертный над ним приговор. Однако рада не была еще в ту пору осведомлена о том, что его княжеская милость ничего дурного противу войска не злоумышлял, а коли улопался (попал впросак), то якобы даже безвинно, по одной лишь юной доверчивости к своему слуге, Даниле Дударю, который вершил все дело в свою голову и своей же головою в том ответствует. В рассуждениях толиких для

войска выгод от похода с царевичем Димитрием, а с другой стороны, и немало для войска стыда и зазора, буде накануне похода полномочный посланец царевича был бы предан в Сечи смертной казни, — не благоугодно ли будет войсковой раде, в отмену давешнего своего приговора, князя Курбского от суда освободить?

— Освободить его! Иди с миром, княже! — благожелательно раздалось со всех сторон.

Курбский снова приподнял на голове шапку.

— Премного благодарен раде! — сказал он. — Засим мне, значит, можно вернуться к царевичу Димитрию с ответом, что славное войско запорожское идет с ним на Москву? Земно кланяюсь за то от имени моего повелителя, будущему царя московского, который никогда не забудет таковой услуги дорогих братьев своих, запорожцев! Но в сей сладостной чаше его будет одна горькая капля: что войско запорожское не только не будет приведено к нему преславным Самойлой Кошкой, но что оно за все прежние заслуги Кошки, этого первейшего из кошевых атаманов, отняло у

него еще последнюю отраду и опору старости! Или, может, войсковая рада на сей раз сменит-таки гнев на милость и вернет бездольному старцу единую дочку, помилует дивчину за ее беззаветную любовь к родителю?

— Помиловать ее, вернуть старичине! Без хозяйки дом сирота! — был единодушный ответ рады.

Глава двадцать вторая ПОСЛЕДНЯЯ МИЛОСТЬ ДАНИЛЕ

— **А** теперь я за долг святой полагаю замолвить еще слово за моего верного слугу и доброго товарища, Данилу Дударя, — продолжал Курбский. — Жаловаться мне на него — Бога гневить. Никогда не выходил он из моей воли, всегда стоял вместе со мной за беззащитных, бедных и сырых, а про Сечь Запорожскую говорил не иначе, как про дом родной. Особливо же чтил он своего кошевого атамана Самойлу Кошку, с коим ходил войной и в туречину, и в свейскую землю, с коим делил и славу, и тягости воинские: голод и холод. Так мог ли он не за что дать пропасть Са-

мойле Кошке и его единственному детищу? Думается мне, панове, что и каждый из вас, на месте Данилы, не устоял бы, внял бы доброму голосу сердца...

Но тут защитительная речь Курбского была резко прервана новым войсковым атаманом Ревой, которому, видно, было далеко не по нутру восхваление его отставленного предместника:

— Тебе думается тако, а нам инако! Настоящий запорожец должен слушаться не сердца, а закона. Коли за что у нас законом смерть положена, так не преступай закона. А станем мы всякому бездельнику и шалопуту отпустить его смертную вину, так и закон никому не будет страшен, и пойдет у нас на Сечи такая неурядица, такой садом, что святых вон выноси. Справедливо говорю я, паны-молодцы?

— Справедливо, дуже справедливо! — подтвердили паны-молодцы.

— Стало, Дударю смерть?

— Смерть! Знамо смерть! Не мало на веку своем и иных бесчинств натворил!

— Ну, что ж, я от смерти не пячусь, — ска-

зал Данило, озираясь на своих судей-товарищей задорным взглядом. — Не умел жить, так сумеи умереть. Но, братчики вы мои, был и я тоже раз, как вы, бравый казачина; как и вы, с честью я носил свой оселедец на маковине. Окажите же мне, братчики, хоть последнюю-то милость: дайте мне смерть на выбор!

— А что же? Пускай выбирает! — слышались кругом добродушные голоса.

— Награди вас Господь и Никола угодник Божий! Казните меня красною смертью, у позорного столба: угостите четверткой горилки, а там уж побейте киями.

Просьба неисправимого гуляки нашла общее одобрение, особенно сиромашни.

— Угостим, братику, и горилкой, и брагой, и медом, а опосля досыта и киями!

— Прощай, милый княже! Не поминай лихом! — сказал Данило Курбскому, целуя его в плечо, а потом обернулся к двум подручным пана есаула, который должен был сопровождать его к месту казни, — чего вылупили глаза, как бараны на новые ворота? Аль забыли дорогу? Так пойдем покажу: авось, вам тоже раз пригодится.

— Годи! — коротко остановил его есаул, потому что, прежде приведения в исполнение приговора рады, приговор надо было оформить на бумаге, и писарь Мандрыка уселся тут же, посреди площади, за свой стол писать решение рады.

Курбский тем временем отозвал в сторону старшего сечевого батьку Товстопуза:

— Прости за спрос, батьку: случалось ли когда, чтобы после избиения киями кто выжил?

— Гм... На сто избиенных, может, выживал один, два.

— Да и тем, я чай, потом жизнь не в жизнь?

— Какая уж жизнь, коли кожу живьем сдерут! А твоей милости, небось, жаль Данилки?

— Уж так жаль, так жаль, что и сказать нельзя! Пораскинул бы ты умом, батьку: нет ли какого выхода, чтобы перевершить дело на иной лад.

Толстяк-батька потупил голову, громко просопел (одышка одолела) и скорбно пробормотал про себя:

— Казусное дело...

Сам, однако, ничего, видно, не измыслив, он подозвал к себе остальных батек. Стали они опять меж собой совещаться и нашли наконец исход.

— Изволишь видеть, мосьпане, — обратился Товстопуз к Курбскому. — Коли запорожец изжил свою жизнь и не токмо казаковать не в силах, но и ни на какую службишку уже не способен, то ему не возбраняется проститься с белым светом, постричься в иноки... Но все дело в деньгах. Кабы Данилко не ушел из войска не спросясь, не пропадал из Сечи столько лет, то бил бы челом войску, как всякий прощальник, — отпустить его с миром, и, как знать? Может, на радостях, отпустили б ему и выделили из куренной казны его долю карбованцев и дукатов...

— Да на что они ему, коли он все равно навеки прощается со светом?

— Вот на это то, на прощанье, они ему и нужны. Созовет он добрых товарищей, лихих гуляк из своих же братчиков-запорожцев, провожать его до Киева — до врат монастырских. Нарядятся они в лучшие свои уборы, сядут на коней и — гайда! Гуляйте, люди доб-

рые, и вспоминайте прощальника!

— Так все деньги этого прощальника идут на гульбу?

— Не все: что не прогулено, да дорогую одежду свою он сдает на монастырскую церковь: без того его туда, почитай, и не приняли б. А Данилко-то твой гол как сокол, из войсковой казны ему ни гроша не причтется. На что же ему свои проводы прощальные справлять, с чем явиться к монастырской братии?

— Это-то я беру на себя, — сказал Курбский. — Царевич мой велел мне не жалеть денег, хоть бы пришлось угостить его именем все войско запорожское.

— Ну, так дело твое в шляпе. Пане атамане! Прикажи-ка довбышу ударить опять на раду.

— Это для чего? — удивился Рева.

— Стало, треба.

Сечевые батьки пользовались на Сечи таким безусловным почетом, что даже кошевой атаман не счел возможным допытываться далее, в чем «треба». Он пожал только плечами и подал знак довбышу. Полагая, что раде уже конец, некоторая часть участвовавших в ней

казаков разбрелась по своим куреням, а сиромашня двинулась во внутренний кош, чтобы занять лучшие места у позорного столба. Когда же теперь воздух огласился призывным звоном литавр, все товариство не замедлило собраться опять на площадь.

— Гей вы, паны-молодцы, детки удалые! — возгласил Товстопуз. — Зазвал вас царевич московский в поле ратное на кровавый пир разыграло в вас отвагой сердце молодецкое. Но сухая ложка рот дерет. И восхотелось его царской милости дать вам в его здравие попировать еще на Сечи — попировать не кровью, а разлитым морем добрых питий: просит он славное товариство запорожское принять от него угощение не на день, не на два, а на три дня.

Как давеча весть о походе, так и теперь не менее радостное сообщение о даровом угощении в течение трех дней вызвало всеобщие ликования:

— Слава царевичу Димитрию! Слава, слава! Товстопуз поднял руку в знак того, что хочет еще говорить, и, когда крики стихли, продолжал:

— Все мы, товарищи, и стар, и млад, будем пировать во славу царевича. Одному только товарищу нашему будет пир не в пир — Даниле Дударю: будет он прощаться с белым светом у позорного столба, пить чашу смертную. Распрощаться с белым светом ему, так ли, сяк ли, надо, запорожцем уже не быть. Но не дать ли ему, детки, христианскую смерть — пускай прощается с белым светом, но не под вашими киями, а как прощальник, коему воинскую службу нести уже не в мочь; пускай замаливает в святой обители и свой грех, и наши грехи!

Чтобы умилоствовать товариство, нельзя было выбрать момента более удобного.

— Пускай прощается! Пускай замаливает! — был общий голос, и та же самая сиромашня, которая сейчас только готова была привязать осужденного товарища к позорному столбу и избить на смерть киями, с не меньшим удовольствием приняла теперь в свою среду освобожденного «прощальника».

Глава двадцать третья

ДАЛЬНИЕ ПРОВОДЫ — ЛИШНИЕ СЛЕЗЫ

Еще, однако, до проводов Данилы надо было пропроводить из Сечи отставленного кошевого. Проводы эти состоялись во внутреннем коше уже полчаса спустя по окончании рады. Когда Самойло Кошка вместе с дочерью, одетые оба по-дорожному, вышли из кошевого куреня на крыльцо, там ожидало их все сечевое начальство.

— Спасибо вам, добрые товарищи, за хлеб-соль и верную дружбу! — сказал Кошка, отвечивая бывшим товарищам и подчиненным низкий-пренизкий поклон. — Храни вас Бог и Пресвятая Матерь Божия!

— И тебя тоже, — был единогласный ответ.

Первым прощаться со своим предместником подошел новый кошевой и троекратно накрест обнялся с ним и расцеловался. За ним сделали то же пан судья, пан писарь и пан есаул, потом сечевые батьки и наконец все 38 куренных атаманов.

Никому не было дела до Груши, отошедшей в сторону, — никому, кроме Курбского, да разве его молодого вожатого, Савки Коваля, бывших тут же. Опущенные веки бедной девочки опухли от слез, а сжатые губы нервно подергивало.

Сам не зная как, Курбский очутился уже около нее, взял ее за руку.

— Кручина у тебя словно не отошла еще от сердца? — спросил он и стал убеждать ее, что ей не то что убиваться, а радоваться надо: теперь ее уже не разлучишь с родителем, и будет она ему в жизни красным солнышком...

Руки своей девочка у него не отнимала, но рука ее была холодна как лед, а из-под ресниц ее выкатились две крупные слезы.

— За батской моим я ходить-то буду... — пролепетала она, всхлипнув. — Кручинюсь я не об нем и не о себе...

— А о ком же?

Сквозь слезы она взглянула на него так, что ему нельзя было догадаться; потом тотчас опять застенчиво потупилась и произнесла чуть слышно:

— Мне сказывал Данило... Не след бы мне

может, говорить с тобой об этом... Что у тебя будто есть...

Она запнулась.

— Что у меня есть? — спросил Курбский, нахмурился и видимо смутившись.

— Нареченная...

— Что за безлепица! Нет у меня никакой нареченной...

— Не отпирайся, пожалуй! Ведь мы с тобой все равно уже не увидимся. Так смотри же, женись на ней поскорее и будь ей верен — будь ей верен до гроба...

— Но клянусь тебе, чем хочешь...

— Не клянись понапрасну! Не бери греха на душу!

— Право же, милая, заверяю тебя, я с ней и не думал обручаться...

— Стало быть, есть все-таки чаровница, дорогая твоему сердцу? И ты рад был бы на ней жениться? Правда ведь, правда? Вот видишь, ты не умеешь лгать, молчишь; значит, правда!

Если бы и не молчание, то омрачившиеся черты Курбского выдали бы девочке, что она недалеко от истины.

— Хотя и хотел бы, да не могу я на ней жениться! — вырвалось у него против воли.

— Почему не можешь? Ведь она, верно, тоже по тебе сохнет и сокрушается?

«Сказать ей или нет, что жениться он не может по простой причине: потому что он уже давно женат на другой, насильно женат, но все же неразрывно?»

От какого бы то ни было ответа освободил его отец девочки: распроставшись со старыми товарищами, Кошка окликнул дочку и, опираясь на ее руку, заковылял из внутреннего коша на сечевую площадь, а оттуда к «пролазу» из Сечи. Два молодчика, по знаку Ревы, повели за ними их оседланных коней, а сам Рева с остальным войсковым начальством двинулся следом. Пошел за ними в тяжелом раздумье и Курбский.

— Не поскорби за спрос, милый княже, — услышал он тут около себя голос Савки Коваля. — Знает ли паненка Аграфена Самойловна дорогу до Белгорода?

— До Белгорода? — недоумевая, повторил Курбский. — Да! Я забыл, что ведь они белгородские... Как ей знать-то? Ехали мы сюда от

Самарской пустыни водой сперва порогами, а потом от Ненасытца хоть и степью, да безлунною ночью.

— То-то вишь! А у батьки ее память совсем, поди, отшибло. Как бы им с дороги не сбиться!

— Что правда, то правда. Всего верней ехать бы им с нами. Сейчас скажу...

— Постой, пожалуй, дай досказать. Ты сам-то едешь отсюда к царевичу вместе с войском?

— Вместе, и хочу просить отпустить тебя со мной чуром (оруженосцем). Полюбился ты мне, Савва, а близкого человека теперь при мне нету...

— Великое тебе спасибо, княже! И самому мне ничего лучшего не надо. Но угощать войско ты обещал целых три дня; значит в поход с войском тронешься не ранее четвертого, а то и пятого дня. Аграфене же Самойловне оставаться в Сечи не единого дня негоже.

— Верно... — должен был опять согласиться Курбский. — Так как же быть-то?

— А вот, изволь видеть: кабы мне, примерно, проводить их до места...

Предложил это Коваль таким умоляющим тоном, что Курбский с недоумением взглянул на него. Все лицо молодика пылало огнем.

— До реки Самары я наверное не собьюсь, — продолжал он скороговоркой. — А оттоль до Белгорода язык нас доведет.

Курбский не мог не улыбнуться.

— И в обиду их никому не дашь?

— Ни головы, ни живота для них не пожалю! Саблей рубить я, слава Богу, наловчился и из мушкета палить тоже не дурак.

— А до меня тебе и горя мало?

— Да ты, княже, сам ведь лыцарь, постоишь за себя. Чуром же к тебе я родного брата Петруся приставлю. Отпустили б меня только, дали саблю да мушкет... Будь благодетель! Тебе стоит слово сказать...

— Скажу, скажу, но только под одним углом.

— Под каким, милый княже?

— Не покидать уже для Сечи твоей будущей жинки.

— Жинки? Какой жинки? — пробормотал Коваль, но по замешательству его видно было, что он сразу понял.

— А той, из-за которой ты теперь и Сечь, и меня покидаешь, — сказал Курбский. — Живут они, кажись, в хорошем достатке. Погодишь еще годик, другой: как заневестится — и свадьбу сыграете. Что же. Идешь на мой уговор?

— Иду! — отвечал молодой, и глаза его радостно заблестали.

Курбскому, действительно, не стоило особенного труда уладить дело с начальством Коваля. Дали молодому и коня, и мушкет, и саблю. А с какой расторопностью он посадил затем Грушу на ее коня, с какой заботливостью поддержал ее в седле, когда у нее отчего-то вдруг закружилась голова.

Теперь, впрочем, и Курбский не мог оторвать глаз от этой полудивчины, полуробенка; а когда все трое: отец, дочка и молодой вожатый, тронулись в путь, и провожавшие их запорожцы гаркнули хором отбывающему старому атаману напутственные пожелания, Курбский не стерпел и также громко крикнул:

— Прощайте, милые! Господь вас помилуй! Зачем он это сделал! Девочка услышала его,

оглянулась и, рыдая, припала лицом к шее своего коня.

Зачем он это сделал! Бедная, бедная!

Глава двадцать четвертая **ДАНИЛО-ПРОЩАЛЬНИК**

Не таково было прощание Данилы. Три дня пирировал он с товарищами-запорожцами, которые теперь не только его не чурались, но высказывали ему, «прощальнику», еще особую жалость, особый почет. Пусть иной из них и не вернется с похода: двум смертям не бывать, а одной не миновать, — да он-то, бидолаха, как не вертись, должен искупить свою вину пожизненной схимой и вовек уже, до самого смертного часа, гулять не будет!

Пировали запорожцы уже не по отдельным куреням, а всем войском под открытым небом на сечевой площади. Где бы тут, в этой громадной столовой, ни появлялся Данило, пирующие тотчас подзывали его к себе, очищали ему первое место. И недаром: следом за прощальником шла потеха в виде жида с бубнами и цимбалами, цыганят-плясунов и слеп-

ца-кобзаря.

— Музыка, играй!

И гремят бубны, звенят цимбалы.

— А вы-то что, чертенята? Валяй халяндры!

И скачут те, как настоящие чертенята, кувыркаются с гиком, визгом, присвистом.

— Стой!

Из их собственных рук жалует он кого чаркой, кого чарой, бросает не глядя, кому гривну, кому и карбованец: князь Михайло Андреевич, благо, не поскупился, отсыпал ему из своего кошелька не малую толику.

— Ну, старина! А теперь твой черед. Да чур, подушевней.

И бренчит слепец на свой кобзе, затягивает вирши про смерть трех братьев у Самары. Ноют струны под дряхлой рукой, дрожит старческий голос, а стародавняя песня, чем дальше, тем шибче хватает, щиплет за сердце.

— Ах, ты, старый черт! Смерть моя! Индо слеза прошибла... Налей-ка ему, пань-молодцы, две чары: одну за моего князя Михаилу, а другую за меня, грешного.

Упирается старина, неумога, мол, пить, за один дух две чары.

— Пей, вражий сын, пей, говорят тебе: прощальник гуляет!

— А ще же, Данилко, сам князь-то твой? — спрашивает прощальника кто-нибудь из товарищей.

— Князь мой? У него хлопот полон рот поважнее наших, дела своего царевича вершит.

Курбский, действительно, имел еще не мало рассуждений с войсковым старшиной о мере участия запорожцев в походе на Москву и об обеспечении их воинскими снарядами, амуницией и продовольствием на весь поход. Тем не менее он нашел бы, конечно, время принять некоторое участие в трехдневном пиршестве запорожцев. Но, несмотря на неоднократные приглашения кошевого атамана Ревы, он не сделал ни шагу из внутреннего коша, куда с сечевой площади день и ночь доносились хмельные песни и крики пирующих.

На третий день все было, казалось, уже все оговорено, улажено, был составлен и письменный договор Между запорожским вой-

ском и царевичем Димитрием. Но, возвратись из войсковой канцелярии к себе, Курбский по-прежнему беспокожно и задумчиво заходил взад и вперед. Вдруг ему припомнилось что-то, и он ударил себя по лбу. Взяв шапку, он отправился обратно в канцелярию.

Пан писарь, как оказалось, за чем-то вышел, за столом восседал один пан судья, исполняя разом два дела: подписывая бумаги, которые одну за другой подсовывал ему один из подначальных Мандрыке писарей, и допрашивал двух казаков — истца и ответчика.

— Да есть ли у тебя на то свидетели, сынку? — говорил он, не переставая немилосердно скрипеть своим гусиным пером.

— На что еще свидетели, пане судья? — отозвался истец. — Я и так его плюхе поверил.

— А здоровенную он тебе закатил?

— Уж чего здоровее! Сам погляди: как щеку-то надуло.

Пану судье пришлось поднять голову, чтобы убедиться в показании.

— Бывает и здоровее: скулу не своротил, — сказал он. — Так вот что, сынку: отплати ему

тем же, да чур, скулы не повреди. А ты, сынку, не отворачивай морды-то, не то не в счет.

Против приговора судьи в таких маловажных спорах не было апелляции, и оба судящиеся подчинились его решению беспрекословно. Канцелярия огласилась звонкой пощечиной. Ответчик слегка пошатнулся, но устоял на ногах.

— Ну, вот и добре, — сказал Брызгаленко, принимаясь опять за перо. — А теперича с Богом! И на-предки чтобы по таким пустякам не беспокоить начальства!

Те отвесили по низкому поклону и, взявшись под руки, вышли вон.

— А ты, пане, подписываешь, не читая? — не утерпел Курбский выразить свое удивление.

Судья только отмахнулся пером.

— Пытался читать, да хуже! Кто писал, тот и отвечай.

В это время вошел и сам начальник канцелярии, Мандрыка.

— Что угодно еще твоей милости? — спросил он Курбского. — Али в договоре у нас не все указано?

— Нет, я по своему делу, — отвечал Курбский. — Хотелось мне узнать у тебя, пане: с Волыни на Москву большой тракт ведет мимо каких городов?

Пан писарь тонко усмехнулся, а затем ответил с притворным вздохом:

— Белгород от твоего тракта в стороне останется! Курбский слегка покраснел и насупил брови.

— О Белагороде я, кажись, не спрашивал.

— А я так чаял, прости, что как ты после отъезда дочки Самойлы Кошки зело затуманился...

— Об ней я не тревожусь, — сухо перебил Курбский, — при ней и родитель ее, и Савка Коваль. Нужно мне знать про Новгород-Северский...

— А у тебя там сродственники?

— Не то, чтобы.

— Так тоже сердечушко по тебе разрывается?

— Точно уличенный в самых затаенных своих чувствах, Курбский вспыхнул до ушей.

— Да мне и знать-то вовсе не для чего... — пробормотал он и без поклона удалился.

На что ему, в самом деле, знать наперед, суждена ли ему еще встреча с той, которая ему на свете всех дороже? От судьбы своей все равно не уйдешь.

И гнал он от себя мысль о будущем; но иная мысль что муха: как привяжется, так гони, не гони — вьется около тебя, не дает покою, да и все тут!.. Разве пойти, Данилу проведать?

На дворе уже стемнело, и на сечевой площади пылало несколько костров, вокруг которых шло свое пирование. Но оно утратило уже прежнее оживленье: беседа шла вяло, костенеющим языком, песни пелись нескладно и обрывались зевотой или просто оттого, что поющий падал без сознания и засыпал мертвецким сном. В поисках за Данилой Курбский переходил от костра к костру и не раз должен был шагать через таких живых мертвецов.

Так он добрался до ворот предместья. Как и в первый раз, стояла здесь стражи из базарных молодцов, вооруженных дубинками. Один из них узнал молодого князя, пожелал ему доброго вечера и затем прибавил, указывая рукой на крамный базар, где светились

также огни и мелькали тени:

— А тебе бы, пане добродию, поунять маленько твоего Данилку. Слышишь, как разгулялся? Голосом пляшет и ногами поет.

Со стороны огней, действительно доносились брэнчание струн и зычные возгласы Данилы.

— Так зачем же вы его пропустили? — спросил Курбский.

— Казак-прощальник — как его не пропустишь? Всех их гульба одолела, а он всякому озорству первый заводчик. Того гляди, с товарищами все равно бы прорвался, разнес весь базар.

Курбский направился на середину крамного базара, где вокруг пылающего костра широким кругом толпились любопытные. Когда он протискался вперед к самому костру, ему представилась такая картина: из разбитой бочки по земле разлилась целая лужа блестящего черного дегтя, на краю лужи стояли три бандуриста и с азартом, стараясь перещеголять один другого, играли плясовую; а в самой луже отплясывал гопака прощальник Данило — отплясывал с гиком и взвизгами, как

бесом одержимый. На полученные от Курбского деньги он обзавелся всего три дня назад новым праздничным нарядом. Но теперь и красные сафьяновые сапоги, и синие шаровары, и кармазиновый жупан были у него сплошь забрызганы дегтем. Увидев своего молодого благодетеля и радельца, он сорвал с головы свою смушковую шапку, отвесил земной поклон и, зачерпнув шапкой из лужи дегтю, налил его себе на обритое темя.

— Не обессудь прощальника, милый княже! Стал я быдлом и всенародне каюсь, каюсь и главу пеплом посыпаю!

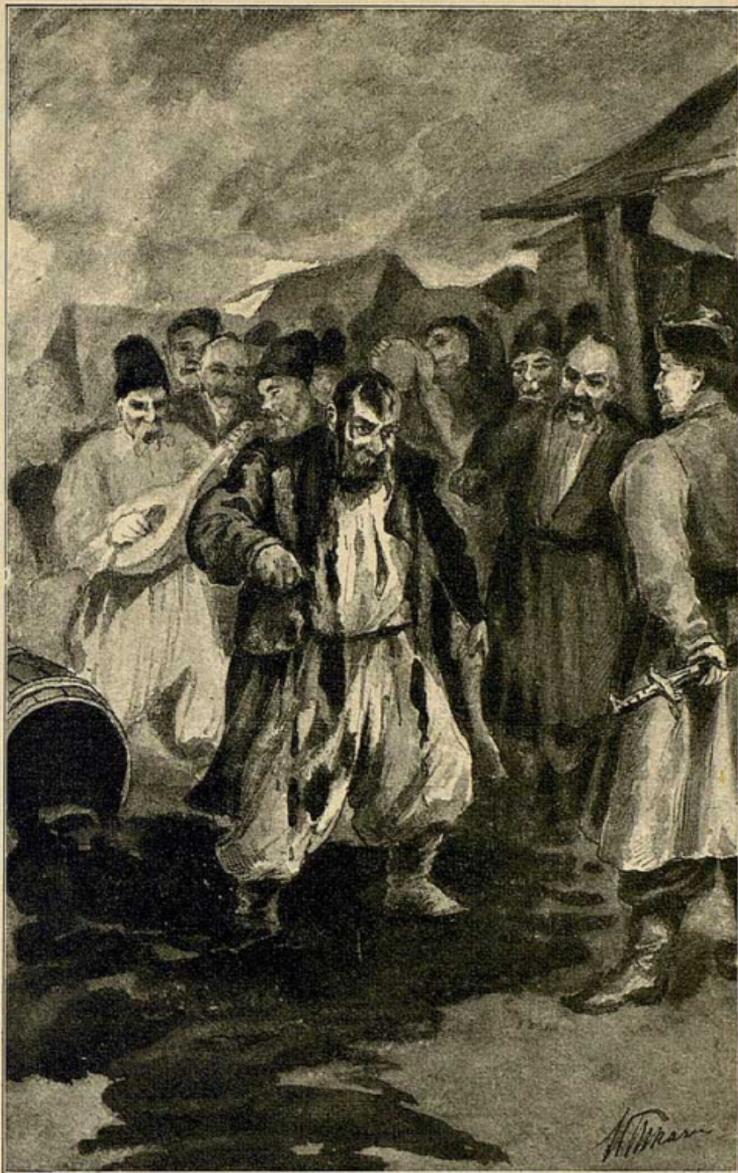
Толпа кругом заржала, загоготала.

— Ай, да пепел! И рожу и одежду себе замазал!

— Да на что мне она, ваша одежда? Яко благ, яко наг, яко нет ничего! Пропадай совсем!

И раз, два — он сорвал с плеча оба рукава жупана, а затем полетела клочьями наземь и остальная его одежда, пока он не остался в одних сапогах.

— А что же сапоги-то? — потешались окружающие. В ответ швырнул он в толпу сперва



— Не обезсудь прощальника, милый княже!

один сапог, потом другой...

Всякий прощальник, как слышал Курбский, принимал монашеский чин в Киеве, но, сопровождаемый всегда целой свитой отпеченых «гультаев», он всю дорогу туда «юродствовал», пока за ним не закрывались навсегда ворота Межигорского Спаса.

Каково же было изумление Курбского, когда на следующее утро прощальник Данило явился к нему совершенно трезвый в своем прежнем дорожном платье и просил разрешения проводить его княжескую милость хотя бы до Самарской обители.

— Да когда же ты в Киев? — спросил Курбский.

— А на что мне в Киев, — отвечал Данило, — коли можно утихомириться и в своей родной святыне, у отца Серапиона?

— Доброе дело. Но дорогою туда ты, по обычаю, будешь гулять с товарищами; так не вышло бы соблазна всему войску?

— Нет, милый княже, в голове у меня и то еще шмели звенят. Гулять мне не в охотку, и не потому, чтобы все денежки были изведены... (Он забренчал деньгами в шароварах).

Есть чем звякнуть, так можно и крякнуть...

— Но откуда они у тебя? — спросил Курбский. — Я сам хотел было дать тебе, сколько требуется, на дорогу с приятелями, но все, что было при мне, ушло на угощение Сечи — даже войсковой казне в долгу еще остался...

— Слышал, Михайло Андреевич, но слышал ноне от писаря тоже, что долг тот войско с тебя уже сложило, да и меня оно не обошло: грошами на дорогу наделило, чтобы не токмо употчеваться всласть, а и Божьей церкви не забыть, да и нищей братии расточить. Но доколе я буду при тебе, я капли хмельного в рот не возьму.

— Так ли?

— Как Бог святой! Чтобы мне лопнуть на том свете! И Данило на этот раз остался в своем слове тверд. Петруся Коваля (брата Савки), вступившего было в обязанности чура, он на время совсем отстранил и затем до реки Самары служил Курбскому усерднее, чем когда-либо прежде. Когда же тут, на берегу Самары, войско сделало привал, он окончательно распростился со своим господином. Прозлезившись, он обнял его колени, но Курб-

ский поднял его с земли и расцеловался с ним трижды накрест по-братски.

— Скорбно мне тоже расставаться с тобой, Данило, — сказал он. — Провожу-ка я тебя до ворот монастырских...

— Оставайся, княже, оставайся... Не то у меня духу не хватит позвать с собой братчиков. Гей вы, паны братчики, на коней! — гаркнул он, вскакивая на коня, и замахал на прощанье шапкой всему остальному товариству, — бувайте, панове, здорови, як волы та коровы! Бубликом хвост завертайте, тай нас не забувайте! Музыка, грай!

Братчики-гуляки заранее уже изготовились к проводам прощальника: все были в своих праздничных нарядах, у каждого на перевязи через плечо по боклаге (бочонку), а в руке по ковшу.

Откуда не возьмись и гусяры, и барабанщики. И двинулся прощальный поезд: впереди сам прощальник, за ним музыка, за музыкой братчики, а справа, слева и вдогонку целая ватага нищих и зевак; нищим прощальник щедрою рукой кидал свои гроши, а зевак братчики с коней своих не менее щедро уго-

щали из боклаг горилкой и брагой...

Запорожца Данилу Дударя Курбский никогда более уже не увидел. Но еще под вечер того же дня он, вместе с кошевым атаманом и выборным от войска, побывал на вечерне в Самарской пустыни и заметил тут, в отдаленном притворе, коленопреклоненного в простой власянице: то был вновь принятый в обитель раб Божий Даниил.

По окончании богослужения настоятель, отец Серапион, благословил еще войско запорожское, в лице его выборных, на предстоящее им ратное дело, а затем подошел к Курбскому.

— Здорово, сыне милый! Премилостивый Бог и за рубежом тебя, вижу, не оставил. Благодарение же и хвала Ему во Святой Троице. Оружие, что отнято было у тебя под Ненасытцем каменниками, доставлено к нам в обитель от имени старика Якима. В бою тебе еще пригодится.

Когда же тут Курбский выразил желание подойти к Даниле, отец игумен наотрез в этом отказал:

— Счеты его с миром сведены! Совлекшись

ветхого Адама и окован веригами железными, он в смиренномудрии и покорстве судьбе скорбит и стенает. Об нем не печалуйся: я буду блюсти, чтобы окаянному не завладеть опять его душой, а дабы он не забывал тебя, своего господина, ему поручено от меня ходить за твоим конем Вихрем...

К рассказанному о «сыне атамана» остается добавить очень немного.

Как узнал Курбский несколько лет спустя от заезжего в Москву запорожца, Груша Кошка вышла замуж за Савку Ковалья и переселилась с ним на его родину — в г. Канев, куда взяла с собой и своего старика-отца; инок же Даниил, в мире носивший прозвище Дударь, дослужился в Самарской обители до звания отца-чашника.

В украинском городе Канев и поныне показывают гробницу кошевого атамана запорожского, Самойлы Кошки, как и поныне на Украине кобзари поют стародавнюю думу про этого славного вояку.

Что касается самого Курбского, то он участвовал в походе своего царевича на Москву; но многообразные приключения его во время

этого похода вкратце передать невозможно, а потому им посвящается отдельная повесть.

1901

Примечания

Рада — казачий совет, от польского слова «radzie» (согласовывать) или от русского «рядить».

[^^^]

Кошами назывались войлочные шалаши степных пастухов и скотарей поставленные на двух колесах для более удобного перемещения в степи. В переносном же смысле под кошем разумелся войсковой стан запорожцев, столица их — сама Сечь Запорожская. Отсюда и название кошевого атамана, начальника войска.

[^^^]

Приводим здесь для образца подобный журнал «войсковой благополучной рады 1760 г.»: «... По собрании, в первый день января, старшин, стариков и атаманов куренных, при распущенном большом знамени и бунчуках, вышед перед церковью, пред литургией, по обыкновению нового лета, без голосов общих, я (кошевой атаман) и по мне судья, писарь и есаул войсковые благодарили и желали увольнения от должностей. Но старики и атаманы допустили только поблагодарить войскового судью Григория Лабуровского и уволили, а меня и старшин войсковых: писаря Ивана Чугуевца и есаула Пилиппа Иванова, отказаться не допустя, просили паки при должностях остаться: почему я и писарь войсковой, хотя и отговаривались и требовали перемены ради представленных наших нужд и резонов, но, видя самоуважные нынешние от пограничностей и прочей смежности по Кошу обстоятельства, по нашей верно-присяжной должности, за объявлением нам от общества сих нужных причин, принуждены

опять, сколько сил станет, сие правление несть. В войсковые судьи старшина войско-вой и куренной Калиноболотского куреня атаман Федор Сохацкий зараз перед церковью атаманами избран, и войсковою клейнот ему вручен. Откуда зараз же пошли все к слушанью божественной литургии, а по выслушании старики и атаманы, по обычаю, проводя меня до куреня и побыв у меня с поздравлением нового лета, разошлись». Некоторые отступления в этом документе от изложенного в настоящем рассказе обыкновенного порядка войсковых выборов объясняются тем, что рада 1760 г. происходила спустя полтораста лет после описываемых нами событий. Впрочем, и ранее бывали случаи выборов старшины одними «стариками» и куренными атаманами, помимо всего войска.

[^^^]